

ЭКСМО

АННА БОГДАНОВА

**НЕЖНЫЕ
ГОДЫ
В РАССРОЧКУ**



Такая смешная любовь

Такая смешная любовь

Анна Богданова

Нежные годы в рассрочку

«ЭКСМО»

2007

Богданова А. В.

Нежные годы в рассрочку / А. В. Богданова — «Эксмо»,
2007 — (Такая смешная любовь)

К пятидесяти годам Аврора Дроздометова вдруг осталась наедине с собой. А это для женщины, прежде не обделенной вниманием, настоящая катастрофа. Что делать? – задала она себе вопрос. Сидеть дома и смотреть телевизор? Устроиться работать консьержкой? Встречаться с приятельницами ради обмена сплетнями? Ничего этого ей не хотелось... Настоящее безрадостно и тускло, будущее... Каким может быть будущее? Неудивительно, что при таком раскладе Аврора с наслаждением принялась вспоминать прошлое: родственников, друзей детства и юности, свою магнитическую красоту, которая, как казалось сейчас, утеряна навсегда, и любовь – много светлой счастливой любви. Ведь все это было, было! Но кто теперь поверит? Может быть, тот, кто прочитает мемуары простой русской женщины? И начинающая писательница села за компьютер...

Содержание

* * *	9
* * *	11
* * *	22
* * *	24
* * *	28
* * *	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Анна Богданова

Нежные годы в рассрочку

Посвящаю маме.

Автор

«Здравствуйте! Меня зовут Аврора Владимировна Дроздомётова. Мне пятьдесят лет, и у меня климакс, – застучала начинающая литераторша по клавиатуре ноутбука. Перечитала и сочла своим долгом добавить: – **Климакс – это ужасно, а родилась я...** – тут она призадумалась – упоминать ли ей дату своего рождения или не стоит (уж больно не хотелось!) и вышла из положения следующим образом: – **пятьдесят лет назад**. Аврора Владимировна улыбнулась, оставшись довольная тем, как легко ей удалось избежать указания даты своего рождения, но, перечитав всё снова, она схватила со стола ярко-оранжевую кружку и запульнула ею в стену.

– Мама! Чего ты от безделья с ума сходишь! Пиши мемуары! Ведь у тебя была такая бурная жизнь! Издашь книгу, кучу денег ограбёшь! – сказала она, скопировав очень близко к оригиналу голос своей тридцатидвухлетней дочери, которая два месяца назад отдала ей свой портативный компьютер. – Как же! Напишешь тут! Напишешь! Когда жар приливает, когда с головы текут струи пота, когда внутри всё дрожит и трясётся и когда непреодолимо хочется кого-нибудь убить! – выпалила она, обращаясь к монитору. Именно так проходила менопауза у неё – Авроры Дроздомётовой. Однако Аврора Владимировна собрала волю в кулак и ещё раз прочла будущую нетленку. – Какая глупость! Если я пишу, что мне пятьдесят лет и у меня климакс, то зачем потом опять упоминать, что я родилась пятьдесят лет назад? Это и так всем будет понятно! – поразилась она сама себе и с яростью удалила последнюю строку.

Аврора Владимировна ещё несчётное количество раз открывала новый файл, называя его то **«Моя нелёгкая жизнь»**, то **«Судьба примы»**, то **«Автобиография необыкновенной женщины»**, прежде чем остановилась на заглавии **«Мои мемуары»**. «Простенько и со вкусом», – решила Дроздомётова. Она ещё, по меньшей мере, раз сорок начинала своё бессмертное сочинение. Она выходила из себя, бесилась, кидала в стены кухни всё, что лежало от неё на расстоянии вытянутой руки, барабанила по полуустёртым буквам и снова уничтожала написанное, даже холодный душ принял, но отступать от начатого дела решительно не желала и опять и опять, сосредоточившись, то высунув кончик языка, то убрав его, то пошевелив губами так, как обычно женщины распределяют помаду, печатала, затаив дыхание, новые и новые строки с прежним содержанием. Текст ёжился, топорщился, как усы недовольного действиями своей армии генерала, не слушался, словно малый избалованный ребёнок – не шёл, одним словом, несмотря на то, что в голове крутилась тьма умных, важных мыслей, которые Дроздомётова силилась выплеснуть на монитор... Но дальше, чем «мне пятьдесят лет и у меня климакс», дело не продвигалось, хотя, поверьте, этой женщине было что сказать, поскольку жизнь её пестрила событиями, судьба сводила её с интересными, знаменитыми людьми, а уж о любовных интригах и говорить не приходится – поклонников в жизни Авроры Дроздомётовой (в девичестве Гавrilовой) было пруд пруди.

Автору не хотелось бы мучить читателя и подробно описывать все тонкости, связанные с особенностями личностного психологического творчества своей героини, и уж тем более писать книгу о не слишком удачных опытах начинающей сочинительницы, поскольку образы всех несусразных и порой бессвязных «начал», «середин» и «финалов» её эпопеи аккурат займут всё бумажное пространство сего романа. Именно поэтому ваша покорная слуга берёт инициативу в свои руки и начинает жизнеописание Авроры Владимировны самостоятельно, лишь изредка забираясь в голову своей героини, дабы узнать, что за мысли и воспоминания там кишат. Засим все ключевые, самые интересные и забавные будут отфильтрованы, сгруппиро-

ваны, обработаны и занесены, в конце концов, по порядку в нижеследующий том. Пусть каждый делает своё дело – пусть Аврора Владимировна вспоминает, силясь воссоздать картину своей нелёгкой, но интересной судьбы, потому как заняться ей, кроме этого, в настоящий момент совершенно нечём, а автор все эти воспоминания и картинки оформит в более или менее связный текст, который обязательно найдёт своего читателя.

Для начала обозначим действительность, в которой наша героиня никак не может найти себе занятия. Именно к этому она, собственно, и вела, истерзая ни в чём не повинный ноутбук, – Аврора Владимировна, раз сорок написав, что у неё климакс и ей в этом году стукнуло пятьдесят лет, хотела показать, к чему красавица (и некогда объект желаний множества мужчин) пришла в свои полвека. Она хотела изобразить тот разительный контраст, ту пропасть, которая разделяет её теперешнюю от неё же восемнадцати-, тридцати- и даже сорока пятилетней. Но в одном и тем более первом предложении не передать крутых поворотов судьбы, особенно если вы затеяли писать мемуары. Тут надобно собрать всё своё терпение, выдержку и, призвав на помощь спокойствие духа, браться «за перо», зная, что на создание подобного литературного произведения уйдёт много сил и времени.

Итак, к пятидесяти годам наша героиня неожиданно оказалась в непростой жизненной ситуации – она вдруг осталась наедине с собой. А это для женщины, прежде не обделённой вниманием, не страдающей от нехватки мужского интереса, согласитесь, настоящая катастрофа. То вас буквально разрывают на части, требуя ответных чувств, а то – на тебе! – сидишь одна в четырёх стенах и нечем больше заняться, кроме как посмотреть телевизор, доползти до кухни и, открыв холодильник, перехватить что-то незначительное пять, шесть, а то и все восемь раз на дню.

Нет, можно, конечно, устроиться на работу, но это только на словах. Куда возьмут женщину в пятьдесят лет? Уборщицей, консьержкой, торговкой в колбасный ларёк на местном рынке? Возможно. Но согласится ли женщина с блестящим, бурным прошлым мыть полы, сидеть в конуре первого этажа замызганной многоэтажки или отвешивать шматки сала и докторскую колбасу – вряд ли. К тому же в материальном плане у неё всё в порядке.

Читать? Вязать носки? Встречаться с лучшими подругами, из десятка которых не осталось ни одной лучшей – лишь добрые приятельницы да хорошие знакомые? Ничего этого не хотелось нашей героине – всё ей наскучило: настоящее было безынтересным и пресным, будущего она не видела вовсе.

Четвёртый официальный муж Авроры Владимировны – Сергей Григорьевич Дроздомётов был старше её на четырнадцать лет. Он давно припеваючи живёт в деревне Кочаново, что раскинулась на краю тёмного, страшного соснового леса «...ской» области в трёхстах километрах от Москвы, и носа в столицу не кажет из-за проблем с лёгкими.

– Приезжай сама! Я задыхаюсь в городе! Жена ты мне или нет?! – кричит он раз в неделю по телефону, когда ездит на своей колымаге – старом «жигулёнке» цвета баклажан за покупками в ближайший посёлок городского типа.

– Не поеду я в эту глушь! В эту яму, где неделями нет света, где нет телефона, где по телевизору всего две программы! Я городской, цивилизованный человек! – давала отпор Аврора Владимировна и обычно бросала трубку, а потом весь день пребывала в расстроенных чувствах, с натянутыми, как тетива лука, нервами.

Она ненавидела деревню Кочаново, которую и деревней-то назвать сложно – всего шесть дворов, обитатели которых дерутся за наделы земли у леса, снедаемые завистью друг к другу и ненормальной какой-то неестественной злостью, вызванной, по всей вероятности, чрезмерным употреблением самогоня. Вот такое драматическое несоответствие: он не может бывать в Москве, она – находиться в деревне. Но как бы ни ненавидела Аврора Владимировна деревенскую жизнь, хочешь не хочешь, а ездить туда периодически ей всё же приходилось – подкорректировать Сергея Григорьевича, навести чистоту в его берлоге, показаться кочановцам – мол, тут

я, никуда не делась, так что на моего мужа попрошу не претендовать. Что же касается личной жизни супругов Дроздомётовых, то её, этой жизни, у них вовсе не было – Сергей Григорьевич вот уж как года три потерял свою мужскую силу, но жена не роптала – более того, она даже не пыталась завести любовника, говоря на выдохе всем и вся:

– Устала я! Так устала я за свою жизнь от мужиков, что никаких дел с ними не хочу иметь!

Вообще чувства между супругами угасли как-то сразу после кончины матери Сергея Григорьевича – пять лет старушка не давала им жизни, и, как ни странно, любовь, которая при ней буквально била фонтаном, быстро заглохла, подевалась куда-то, потерялась, когда не стало свекрови, – и сколько бы ни искала её, эту свою любовь, Аврора Владимировна, так и не может найти по сей день. Хотя это случается чаще всего – ведь когда плод перестаёт быть запретным, он одновременно теряет и всю свою сладость. Татьяна Романовна (родительница Сергея) неожиданно оставила после себя внушительный капитал, на проценты с которого по сегодняшний день живут супруги Дроздомёты. Если б старушка знала, что хоть копейка перепадёт её ненавистной невестке, она, наверное, сожгла бы все свои накопленные (вероятнее всего нечестным трудом) деньги (потому что честно столько не накопить при всём желании) перед тем, как отправиться на тот свет, несмотря на то, что Аврора Владимировна два года была для неё не столько невесткой, сколько сиделкой, кормя болящую с ложечки и вынося за неё судно.

Что же касается дочери Авроры Владимировны – Арины, то она пять лет назад бежала вон из Москвы. Дело в том, что после окончания театрального училища Ариша шесть лет играла в детском театре две единственных роли – мышки с поджатыми «лапками», что пробегала по сцене во втором акте, истощно пища, и зайца уже в другом спектакле, который в начале первого отделения сидел на поляне и, будучи напуганный до смерти появлением волка, безвозвратно убегал за кулисы. Прослужив таким образом шесть лет, она не выдержала и, уволившись по собственному желанию с диким скандалом, спустя несколько месяцев устроилась в один из областных театров в четырёхстах километрах от Москвы, что блистал премьерами в начале каждого сезона. И Арина была абсолютно счастлива – теперь она играла все ведущие роли – в прошлом году, например, режиссёр до того дошёл, что дал ей роль Отелло, и она, вымазав лицо тёмно-коричневым гримом, а тело (в силу стеснённости средств областного драматического театра) водоотталкивающим средством по уходу за обувью, с наслаждением и самозабвением душила Лилю Сокромецкую в финальной сцене, не забыв спросить до этого кульмиационного эпизода ломающимся, но грозным баском:

– Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Мамаша бесилась, злилась, недоумевала, как это дочь могла променять столицу нашей родины на какой-то затрапезный городишко, но та с достоинством давала множество разнообразных ответов, выражавших одну и ту же мысль: «Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе», или «Лучше быть живой кошкой, чем дохлым львом», а находясь в творческом экстазе, что обычно происходило, когда она начинала учить новую роль, восклицала:

– Лучше господствовать в аду, чем быть рабом на небе! Здесь я играю леди Макбет Мценского уезда, Гамлета, Отелло!

Арину не тянуло в столицу, которая ассоциировалась у неё с мышами, зайцами и бывшим мужем, тоже, кстати сказать, актёром, который по сей день играл в вышеупомянутом детском театре в основном ослов да козлов. Как, впрочем, не тянуло её после неудавшегося брака снова устраивать свою личную жизнь, рожать детей и тем самым окончательно погрызнуть в засаленных, закоптелых кастрюлях и описанных пелёнках.

– Я человек творчества! – убеждала она мать, когда та заговаривала о внуках. – У меня не может быть личной жизни – всю сексуальную энергию я сублимирую на работе!

– Но можно ведь совмещать работу с семьёй! – удивлялась Аврора Владимировна. – Так многие актёры делают!

Но Арина втеснила себе в голову, что семья и театр – две вещи несовместимые, как вера и математические доказательства, и если она будет размениваться по пустякам, каковым, собственно, считала брак, то о театральных подмостках можно будет благополучно забыть.

Если говорить о многочисленных родственниках героини, которые некогда в буквальном смысле слова открывали её дверь ногой, исчезли куда-то, рассосались, забились по своим квартирам, и такое впечатление складывалось у Авроры, что они всеми своими поступками и действиями показывают ей: они сами по себе, а она сама по себе – не существует никаких таких кровных уз в природе, из-за которых следовало бы им продолжать общение.

Родители Авроры Владимировны давно переселились в лучший мир, а сводный брат со стороны матери – Геня Кошелев, подобно остальным её родственникам, отказал в общении сестре. У него теперь были новая жизнь, новая жена и новый ребёнок.

«Что ж! Не хотят поддерживать со мной связь и не надо! Сдались они мне сто лет»! – думала Аврора и со временем перестала переживать по этому поводу. Но настоящее её было именно таковым – безотрадным, тоскливым и одиноким. От будущего она тоже ничего хорошего не ожидала. Да и что может измениться? Дочь будет продолжать играть главные роли в провинциальном театришке – так что на внуков можно не рассчитывать, Сергей Григорьевич до конца дней своих останется в Кочанове и, хоть как мужчина он уже немощный и совершенно бессильный, будет флиртовать с бабами: то одну ущипнёт за задницу, то другую цапнет за грудь. Что же остаётся ей?..

Неудивительно, что наша героиня при таком раскладе жила лишь прошлым – она с наслаждением и упоением вспоминала насыщенные, интересные, наполненные любовью годы, тосковала по своей ослепительной, угасшей с годами красоте (надо заметить, что Аврора Владимировна и в свои пятьдесят выглядела великолепно – во-первых, никто не верил, что ей действительно полтинник и у неё климакс, а во-вторых, этот зрелый возраст, сравнимый с бархатной золотой осенью, одаряет человека новой, ни с чем не сравнимой красотой, которую, к сожалению, госпожа Дроздомётова пока не научилась ценить). В этом заключалось её нынешнее существование. Поэтому-то душа её порывисто, с таким жаром и азартом отзывалась на предложение дочери написать мемуары своей жизни.

* * *

В двадцать лет Аврора умудрилась сделать многое – то, что сегодняшняя слабая половина человечества едва успевает сделать и к тридцати годам.

Начнём с малого. Она окончила десятилетку и неожиданно для себя оказалась зачисленной в швейное училище. (И такое бывает!) Героиня наша приехала с моря в конце августа и узнала, что мамаша Зинаида Матвеевна Гавrilova, подстрекаемая лучшей школьной подругой Авроры – Ириной Ненашевой (вполне сформировавшейся девушкой для своих семнадцати лет, с белёсыми волосами на ногах, которые напоминали густую шерсть, пробивающуюся сквозь нейлоновые чулки), отдала её документы в ПТУ.

– Зинаидочка Матвеевна! Это ж самая лучшая профессия! – убеждала её Ирина. – Вы только представьте себе! Арка будет обшивать всю семью! В магазинах ничего нет, а вы в шикарном чёрном пальто из модного материала с воротником из чернобурки гуляете по улице. И все-то обращают на вас внимание, подходят, спрашивают – гражданочка, где это вы отхватили себе такое роскошное пальто?!

– Нашто в чёрном? – воспротивилась Зинаидочка Матвеевна. – Беж, шоб обязательно цвета беж! Я женщина ещё не старая – мне всё светлое к лицу идёт! – Аврорина мамаша, судя по речи, потеряла самоконтроль от возбуждения и засветившихся перед ней поистине фантастических перспектив: за тридцать лет проживания в Москве она почти утратила вологодский говор – лишь изредка, подобно скромным крошкам хлеба от съеденного батона, его остатки рассыпались в её разговоре. Но особенно отчётливо он давал о себе знать в двух случаях – когда Зинаида Матвеевна не в силах была сдерживать себя и когда хотела так или иначе выделиться, блеснуть – мол, не такая я, как вы все: я особенная, я приехала из края, знаменитого своими кружевами и сливочным маслом! В эти моменты она, припадая на «о», как кобыла на левую ногу, будто взвинчивала, подвешивала кверху фразы.

– Хотите беж, будет вам беж! – заверила её Ира. – Вы только посмотрите, сколько плюсов в профессии швеи! Ведь одни сплошные плюсы!

– А плотют многоль? – Этот вопрос особенно интересовал Зинаиду Матвеевну. Она работала кассиром на часовом заводе и с утра до вечера считала чужие деньги, гоняя взад-вперёд костяшки на счётах. Особенно агрессивна она бывала в дни выдачи заработной платы – Гаврилова огрызаясь, лезла в бутылку, злилась и бубнила себе под нос: «Это ж какую бешеную деньги тут плотют! И за что только, спрашивается?!»

– Голым человек ходить не может, потому как это аморально, – с видом знатока заявила Ира. – Одежда всегда и всем нужна, так что Арке на хлеб с маслицем хватит!

– Если с маслицем, то это неплохо! – задумчиво сказала мамаша, представляя, как она заходит в бухгалтерию в шикарном пальто цвета беж из модной ткани под название «мозги» и все её сослуживицы корчатся от зависти, особенно Даша Брыкина (заместитель главного бухгалтера) – эта вообще встанет и уйдёт, демонстративно хлопнув дверью.

– И потом, как здорово будет, если мы с ней будем вместе учиться! Вместе ездить в училище, вместе возвращаться! – Как раз этот факт больше всего и привлекал Ирку – ради этого «вместе» она и пришла тогда к Зинаиде Матвеевне.

– Пожалуй, что я согласна, – несомненно, Гаврилову подкупила мысль о новом зимнем пальто с чернобуркой. – Только не баловать мне! – пригрозила она и, открыв шкаф, выхватила из-под стопки скрипучего, накрахмаленного постельного белья документы дочери. – Поехали.

Так, вернувшись с Черноморского побережья, Аврора оказалась зачисленной в швейное училище, не имея ни особых способностей, ни склонностей к будущей профессии. Но девушка не стала выражать своё недовольство – мол, почему меня никто не спросил, а может, я ненавижу шить и т.д. и т.п. И на это были свои причины. Во-первых, Аврора сама толком не знала,

куда ей податься после школы, во-вторых, её устраивало, что учиться они с Иркой будут вместе, но главное – её вообще не волновала мысль об учёбе по причине страстной влюблённости в Юрку Метёлкина. Купаясь весь месяц в Чёрном море, загорая на золотистом песке, блуждая по берегу в окружении многочисленных поклонников, она ни на минуту не оставляла мысли о парнишке, что учился с ней в одной школе, в параллельном классе. В мае, за месяц до выпускных экзаменов, она ещё не подозревала, что может влюбиться в кого-то, думать о ком-то, дружить с кем-то, кроме Костика Жаклинского, который учился в её же классе, переехав в Москву из Саратова год назад.

В первый же день, как только Костя увидел Аврору, он был наповал сражён её необычной красотой, которая у одних всю жизнь вызывала безумное восхищение, у других – смешанное негативное чувство, состоящее из протеста (не должно быть таких людей, говорило всё их существование, обычно не уточняя, каких это *таких* людей не должно быть вовсе), смутной зависти и злости на матушку природу, что одарила отчего-то этакой невероятной привлекательностью не их, а глупую, недостойную девицу.

– И в кого она такая уродилась?! – вопрошиали последние. – Ни на мать, ни на отца не похожа!

Вот тут они, надо сказать, были абсолютно правы – Аврора имела довольно отдалённое сходство с отцом и едва уловимое с матерью. Бывает же! Иногда у невзрачных, ничем не примечательных внешне родителей получаются поразительно красивые дети и, соответственно, наоборот. Так что прежде, чем приступить к описанию портрета героини и уж тем более её жизни, целесообразнее будет рассказать о её родителях. Верно? Ведь любой человек есть продолжение двух других, произведших его на свет, и в нём причудливо мешается их кровь, подчас самым неожиданным образом – это отражается как во внешности индивида, так и в его характере. Я уж не говорю о тех родинках, плешинах, холках и скверных зубах, которые нередко достаются нам от прарабабушек и дедушек, а то бы пришлось начинать свой рассказ с времён Очакова и покорения Крыма. Но будем смотреть на вещи проще, не станем погружаться с головой в глубь веков, а всего-навсего почерпнём каких-нибудь лет пятьдесят пять, подобно огороднику, подготавливающему землю для весенней посадки, дабы к осени получить щедрые дары природы в благодарность своего труда.

* * *

Мать Авроры, Зинаида Матвеевна, никогда не блистала красотой, обладая неказистой, подчас даже пугающей внешностью. Свидетели говаривали, что в молодости у неё была точёная фигура – хоть и пятьдесят четвёртого размера, но пропорциональная и складная, несмотря на коротенькие ноги-подставки с толстенными ляжками, которых она ни в коем случае не стеснялась – о нет! – напротив, она гордилась и дорожила ими, как, впрочем, и пышной грудью седьмого номера и аппетитными руками. Однако со временем соблазнительные линии размылись, тело её изменилось отнюдь не к лучшему и стало напоминать бесформенный огромный арбуз, если предположить, что у данной ягоды нет формы. Лицо её всегда походило на грушу – как в пять лет, так и в пятьдесят пять: узкая, лобовая часть, намекающая на то, что в этой голове не так-то уж много мыслей (а умных в особенности), и пухлые, будто надутые щёки, сравнимые только с хомячими, за которыми тот вечно оставляет запасы еды на будущее, открыто говорящие о неумеренном аппетите их обладательницы.

«Моя мать, Зинаида Матвеевна (в девичестве Редькина), родилась в деревне Харино, но не в том Харине, откуда родом Михаил Васильевич Данилов, который в 1777 году издал руководство по приготовлению фейерверков и иллюминаций, – он-то жил совершенно в ином Харине – в том, что в Тульской области, и уж тем более не в том Харине, где появился на свет поэт – Владимир Тимофеевич Кирилов, что написал стихотворение „Я подслушал эти песни близких, радостных веков“, – он-то из Харина Духовщинского уезда, ныне Смоленской области. А мать моя совсем из другого Харина – того, что в Вологодской области на реке Илезка», – торопливо барабанила Аврора Владимировна. Откуда Дроздомётова знала об изобретателе Данилове и стихотворце Кирилове – ума не приложу! Спустя неделю после мучительного начинания своего жизнеописания она порядком продвинулась, отошла от навязчивой и липучей фразы о том, что ей пятьдесят лет и у неё климакс. Героиня наша наконец добралась до своих корней, а именно до момента появления на свет своей родительницы. Если вернуться в настоящее, то в реальной жизни Авроры Владимировны ничего знаменательного за эти семь минувших дней не произошло – очередная телефоннаяссора с Сергеем Григорьевичем, скандал на продуктовом рынке по поводу недовешенных двухсот граммов говядины и разговор с дочерью, который тоже ничего хорошего не принёс, разве что известие о новой роли – Арина будет играть Чацкого в бессмертной комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Однако продолжим историю рождения Зинаиды Матвеевны.

Когда у Аврориной бабки, Авдотьи Ивановны Редькиной (в девичестве Солониновой), начались схватки, Матвей Терентьевич (дед нашей героини), усаживая её в телегу, пригрозил:

– Гляди! Ещё девку принесёшь – из дома выгоню! Одна есть, дак и хватит! Нашто мне девки сдались? – спросил он вовсю орущую жену, перекрестил и со спокойной душой отправил. Но надежды его не оправдались, поскольку Авдотья Ивановна вернулась через три дня с девочкой на руках, которую на сороковой день окрестили Зинаидой.

Матвей Терентьевич побубнил, побубнил, но вскоре смирился – ведь у него было уже два наследника – Василий (старший) и Павел. Была ещё средненькая – Антонина, а после Зиночки в семействе Редькиных появились (почти с такой же быстротой, с какой вырастают грибы после дождя) Иван и Екатерина. На Катеньке постоянное состояние беременности Авдотьи Ивановны закончилось, по причине потери супруга – он заболел двусторонним воспалением лёгких и приказал долго жить, в результате чего Редькина осталась с шестью детьми на руках, без кормильца и средств к существованию.

– Чего хорошего, дак помалу, а плохого дак с леше-его! – выла она ровно неделю после похорон мужа, а на восьмой день, оглядев своих чад, выть перестала и сказала спокойным,

пожалуй, даже безразличным, ничего не выражавшим голосом: – И чего мне с вами делать? Сдам я вас в приют, дити мои! – резанула она. «Дити» же, естественно, запротестовали, старший – Василий уехал в Вологду и, устроившись там разнорабочим на железной дороге, принял усилия помочь семье, дабы мамаша не сдала младших братьев и сестёр в приют. Вскоре он отправился в Москву, поступил на вагоноремонтный завод, стал помогать ещё больше – то деньги пришлёт, то сам появится, понавезёт из Первопрестольной подарков: кому валенки, кому пальтишко спрavit, матери – неизменно платок или шаль. Вслед за ним в столицу из Харина перебрался брат Павел; Антонина вышла замуж за мастера зингеровских швейных машинок и поселилась в роскошной пятикомнатной московской квартире благоверного, с высоченными потолками с лепниной, на улице Осищенко. В дальнейшем Александр Алексеевич Вишняков (её муж) переключился на починку подольских машинок, а в их квартиру подселили соседей – так, что супругам оставили одну комнату из пяти.

Постепенно в Москву переселилось всё семейство Редькиных. Зиночка по приезде жила у сестры, работала вместе со старшим братом Василием на вагоноремонтном заводе, а вечерами училась в бухгалтерском техникуме. Она мучилась, доходя до отчаяния и ровным счётом ничегошеньки не понимая в бухгалтерском учёте; дебет с кредитом для неё вообще были пустыми, не несущими никакого смысла словами, но, несмотря на это, Зинаида окончила техникум – неважно, что с горем пополам – главное ведь «корочка». После окончания она устроилась в бухгалтерию часового завода кассиром и, вцепившись в эту работу руками и ногами, благополучно отслужила там до пенсии. За год до войны она вышла замуж за Виктора Андреевича Кошелева, с которым познакомилась ещё на вагоноремонтном заводе и который погиб в самом начале Великой Отечественной, так и не увидев своего сына – Геню Кошелева, родившегося в том же трагическом для всего советского народа – сорок первом.

Второй муж Зинаиды Матвеевны...

Хотя отчего ж мы так скажем? Отчего ж перепрыгиваем, лишая внимания её найдстойнейшего первого супруга, и сразу пишем о втором? Нет, так дело не пойдёт! Если автор взялся описывать личную жизнь Аврориной матери, то тут, поверьте, никак не обойтись без первой её любви – светлой и чистой, чем, собственно, и характерна эта самая **первая** любовь. Немаловажной причиной для введения в наш роман такого, казалось бы, проходного (вспыхнувшего вдруг звездой и тут же упавшего с тёмного ночного небосклона) персонажа, как Виктор Кошелев, который не имеет никакого отношения к появлению на свет нашей героини, явилась та трансформация образа Зинаиды Матвеевны, та метаморфоза её характера, что произошла после вынужденного расставания с любимым. Как так получилось? Как могла наивная, бесхитростная девушка превратиться в туповатую, недалёкую, жадную и завистливую тётку?

Вторая, не менее важная причиной для упоминания Виктора и описания их с Зинаидой знакомства, несомненно, разбавит ту мрачную атмосферу начала книги, которая перенесёт читателя в безрадостные, послевоенные годы. В то самое время, когда уцелевшие на фронтах и пережившие дикие лишения в тылу люди надеялись на безоблачную, счастливую мирную жизнь, а получили вместо этого (будем до конца откровенны) скотское существование. И нечего удивляться, что в Аврориной судьбе, а следовательно, и в её мемуарах (особенно в той части, где она описывает своё детство) фигурируют люди нервные, озлобленные, ожесточённые, с истерзанными, окаменевшими сердцами.

В тот далёкий (нереально далёкий для нас) тёплый день начала июля тридцать девятого года прошлого столетия девятнадцатилетняя Зиночка Редькина, переодевшись в раздевалке вагоноремонтного завода, посмотрелась в узенькое, отбитое по углам, замутненное зеркало, дрожащими руками вытащила из сумки длиннющие бусы старшей сестры Антонины, взятые перед работой без спроса, и, нацепив их на шею, довольная, выскочила на улицу.

Нитка опалов флюресцирующим, нежным молочным светом переливалась на солнце – Зиночка теребила бусины рукой, перетягивая украшение то правее, то левее, пытаясь найти

для него ту золотую середину, при которой оно бы не висело каплей вокруг одной из грудей. И как раз, когда девушка спускалась с парадной лестницы – треск, вжик, – опаловые горошины, подобно витаминовым драже, рассыпались по ступеням, подпрыгивая и словно весело подхихикивая.

Зиночка в панике бросилась их собирать – она на корточках скакала по лестнице, как вдруг прямо перед носом узрела чьи-то ноги.

– Что, рассыпала? – услышала она. Говорящий не смеялся над её несчастьем – напротив, он, казалось, сочувствовал ей.

Зиночка подняла голову и увидела парнишку, своего ровесника – высокого, красивого, темноволосого, сильного, в льняных брюках, рубахе с засученными рукавами – прямо, как Клим Ярко из кинофильма «Трактористы», подумала тогда она.

– Ага, – чуть не плача, кивнула Зинаида, – теперь сестра меня из дому выгонит! Бусы-то её!

– Такая строгая сестра? – удивился незнакомец. – Из-за каких-то бус и сразу на улицу??!

– Ну... Так... – неопределённо пробормотала Зина и призналась, краснея: – Я ведь без спроса их взяла, специально для фотографии, хотела сфотографироваться на память, а потом вернуть незаметненько, вроде как и не брала.

– Да ладно, ты не расстраивайся, сейчас соберём, а потом я их тебе на нитку посажу.

– Правда?! – обрадовалась Зиночка и с невероятной нежностью посмотрела на юношу – так посмотрела, что у того сердце отчего-то сжалось и застучало часто-часто. Такой смешной, пугливой, забавной и одновременно милой показалась ему эта девчонка.

– Правда! А тебя как звать?

– Зина, – сказала она, но, подумав, добавила: – Зинаида.

– А меня Виктором. Все просто Витей зовут. А что ты тут делала, около нашего вагоно-ремонтного?

– Как – что? Я тут работаю!

– Да ты что?! – изумился Виктор (просто Витя). – Я тоже тут работаю, но тебя ни разу не видел.

И они заговорили о заводе. Оказалось, что работают они в разных корпусах, да ещё и выходят в разные смены, оттого-то и не знакомы до сих пор, потом поговорили о погоде, о своих планах на будущее. Зиночка поведала молодому человеку, что собирается поступать в бухгалтерский техникум, – тот, в свою очередь, что в следующем году непременно пойдёт учиться на инженера, поскольку сию профессию считает не только интеллигентной, но и самой интересной.

Так беседовали они, ползая по ступенькам и собирая в ладони молочные радужные бусины, похожие на ягоды белого недозрелого винограда, до тех пор, пока не столкнулись и не треснули лбами так, что искры у обоих из глаз посыпались. Надо заметить, столкновение это моментально сблизило их. Они взялись за руки и отправились на проходную, чтобы сесть спокойно в каморке сторожа Нила Никифоровича и не торопясь нанизать на нитку бусы старшей Зинаидиной сестры.

Бусы вышли, конечно, значительно короче, но этого Антонина не заметила – она вообще отчего-то не любила опалы и носила их очень редко.

Потом Виктор вызвался проводить Зиночку в фотоателье, и они щёлкнулись на память вместе – она, сидя на стуле, он, стоя рядом, положив ей на плечо руку. После фотоателье они отправились гулять в Нескучный сад и бродили до темноты – Виктор всё больше говорил, Зина – слушала. Ей было не то что бы интересно – девушку скорее поразил, нет, пожалуй, наповал сразил тот факт, что ей, Зине Редькиной, кто-то что-то серьёзно рассказывает и к тому же довольно долго – обо всём подряд. О море, чайках, о кинематографе, о Москве, о футболе.

Лишь к полуночи они очутились на улице Осипенко, где Зинаида обитала по приезде в столицу из деревни Харино, и ещё минут пять новый знакомый грел девице ладони, пытаясь заглянуть ей в глаза.

С того самого дня Виктор с Аврориной матерью встречались почти каждый день в течение года. Они бродили по улицам, один раз сходили в театр, два раза в кино – на «Подкидыша» и «Василису Прекрасную»... Ходили, держась за руки, и всё – не более того. Ни разу за всё это время Виктор не позволил себе даже невинного поцелуя в пухлую, аппетитную Зинину щёку, несмотря на то, что в душе этих двоих полыхал огонь страсти, безудержного желания, а самое главное, любви. Такое целомудренное поведение безумно влюблённых друг в друга людей было нормой для того далёкого и почти нереального для нас с вами тридцать девятого года. А чему здесь удивляться, если до шестидесятых годов даже невинное объятие на улице было практически официально запрещено? Вас мог остановить патруль от общественной охраны и не просто сделать замечание, а застыдить так, что мало бы не показалось.

Спустя год после знаменательного знакомства на ступенях вагоноремонтного завода Виктор понял, что не может жить без Зиночки. Он сделал ей официальное предложение и, представив её матери и сестре, через месяц подарил оловянное обручальное кольцо. В конце декабря сорокового года молодые сыграли скромную, но весёлую свадьбу.

Зинаида сразу же перебралась на квартиру к мужу – теперь они вместе ходили на работу, подгадывая смены, вместе возвращались. Они были неразлучны и никогда, как в то время, Аврорина мать, пожалуй, не была счастлива в своей жизни. Она чувствовала себя настоящей женщиной, поскольку её искренне и сильно любил тот человек, которого любила она сама.

Всё было слишком хорошо, подозрительно хорошо, недопустимо хорошо – так, как не должно быть – ведь судьба никогда не позволяет долгого безупречного счастья.

Был выходной день. Они с Виктором лежали в кровати и хохотали над причудливо преломленным пыльным лучом солнца, на сгибе которого вместо привычной белой тарелки с синим рисунком по краю чудилась расплывчатая огромная медуза.

Он бережно, с необыкновенной нежностью гладил женин живот – она заливалась ещё сильнее, будто ей пятки щекотали.

– Будет сын. Слышишь, Зиночка? Я знаю, – ласково говорил Виктор.

– Тебе просто так хочется! Откуда ты можешь знать?! – смеясь, возмущалась она. – Моя мать говорит, если живот круглый – будет девочка, а если как яйцо, – мальчик. А у меня круглый, ты посмотри, круглый живот!

– Всё равно будет сын! А потом у нас родится дочка... – мечтательно проговорил он. – И вообще у нас будет много детей. Я через четыре с половиной года стану инженером. Мы будем работать, рожать детей, ездить на море... Ты обязательно должна увидеть море, Зиночка!

– Вить! Я тебя так люблю! Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! Я даже мать родную – и ту не так сильно люблю! – восхлинула Зинаида и заплакала от счастья.

– Я тоже, тоже, очень тебя люблю! – с чувством сказал Виктор, неуклюже поцеловав жену в темечко. – И мы будем всегда вместе. Всегда. До конца своих дней. А сына давай назовём Геннадием, а? У меня дядьку Геннадием звали. Хороший был человек – бедовый! В кotle утон, ага! – с гордостью заявил он.

– Как же это, Витюш? – и Зинаида то ли от испуга, то ли от удивления прикрыла рот ладонью.

– Да очень просто. Он поваром в доме призрения на набережной до революции служил. Народу-то, знаешь, сколько там ночевало да ело?! Вот и котёл был огромный! Вон с тот дом! – И он указал на соседнее трёхэтажное здание. – Правда-правда! Поди ж, их всех накорми! И однажды дядя Гена варил гороховый суп на обед. Решил помешать, залез к самому краю гигантской кастрюли по лестнице, хотел было взять огромную, длинную палку, какой обычно картофельное пюре размешивал, да лестница пошатнулась. Он не удержался и полетел в кипящий

суп. Да... Так и сварился... Жаль его, хороший был мужик. Ничего не боялся. Ну что, Зиночка, назовём сына Геннадием? – И не успела Зиночка ничего ответить, как в комнату ворвалась сестра Виктора и завопила нечеловеческим голосом:

– Война! Война! Немцы нам войну объявили! Война! Только что по радио сказали!

Уже через неделю Зинаида Матвеевна, ревя белугой и стоя за чугунной решёткой, провожала последним взглядом ненаглядного супруга своего на фронт под музыку гениального марша «Прощание славянки».

В глубине души она знала, что эта война ненадолго (так думали многие тогда), что скоро, очень скоро Виктор вернётся к ней, но Зинаида не могла себе представить, как она проживёт в разлуке с любимым хотя бы неделю – ведь со дня их знакомства они почти всё время проводили вместе.

Но прошла неделя, за ней минула вторая, третья – Виктор всё не возвращался...

А спустя месяц после начала войны Зинаида получила похоронку. И в тот миг, когда почтальонша вручила ей самый страшный документ того времени, Зинаида Матвеевна поняла, что никогда они с Виктором не будут жить счастливо, никогда она вместе с ним не поедет на море, не рожают они уже кучу детей и никогда не стать ему, её любимому супругу, инженером. Ничего переди она не видела. Одна сплошная непроглядная, густая темнота перед глазами, сквозь которую невозможно пробраться. Единственная драгоценность, которая осталась от мужа, была в ней самой. И Зинаида пообещала себе: если родится сын, она назовёт его так, как просил муж – Геннадием, в честь его дядьки, бедового мужика, который сварился в горючом супе.

Все эти вышеописанные мысли проскользнули, слепившись воедино, не в самом её мозгу, а как-то мимо, словно обходя его. Получив похоронку, Зинаида прокричала на весь дом:

– Нет! Это не так! Это вы нарочно! Назло! Или перепутали! Виктор жив! Жив! Жив он! – и, захлопнув дверь, кинулась на кровать. Она ревела весь вечер вплоть до ночной смены в госпитале, куда поступила санитаркой.

Зинаида ждала мужа и тогда, когда закончилась война. Она верила, что та похоронка была просто-напросто чудовищной ошибкой. Годы одиночества и постоянного напряжения, гибель всей семьи Виктора в результате бомбёжки, потеря крыши над головой, лишения ничего хорошего и доброго не привнесли в характер Аврориной матери. Эта тяжёлая жизнь не послужила ей благотворным опытом, как некоторым, – напротив, Зинаида озлобилась, стала чёрствой, немного даже жестокой и завистливой. Доходило до того, что она в глаза могла задать совершенно недопустимый и некорректный вопрос: «А почему это твой мужик жив, а мой в первый месяц войны погиб?» или «А почему твой муж в войну-то не умер? Значит, воевал плохо! Шкуру свою спасал! Вон мой не берёгся, дак в первый месяц и пал смертью храбрых!» Но потом она устала ждать – что-то вдруг будто сломалось в ней: вместо любви к Виктору в её сердце поселились обида и злость на него – никогда она не смогла простить мужу того, что он не вернулся, не сохранил себя ради неё, ради сына... И она нашла в себе силы вычеркнуть его из памяти, забыть счастливое время, первую любовь исключительно ради того, чтобы жить дальше.

Такова была Зинаида Матвеевна – Аврорина мать.

Что же касается второго её супруга и отца нашей героини – Владимира Ивановича Гаврилова... Тут автор затрудняется что-либо сказать... Поскольку о нём или вовсе ничего говорить не стоит, или выпалить всё сразу, как на духу. Дабы утолить любопытство многоуважаемого читателя, ваша покорная слуга выбирает второй вариант. Пожалуй, начну с его внешности – несколько необычной, которая у многих нередко вызывала отвращение, но, несмотря на это, была до предела индивидуальна. Индивидуальность любого человека – конечно, вещь естественная и неоспоримая, недаром в качестве синонима слова «человек» часто выступает такое

понятие, как «индивиду», но существуют всё же определённые типажи, а вот Владимир Иванович не укладывался ни в один из них.

Он был среднего роста, с тонкими ногами и руками, несоответствующими, более того, несколько карикатурно смотрящимися с его надутым животом, что появился у него после сорока лет благодаря наследственной водянке и приобретённому циррозу печени. Тело его – слишком белое, на конечностях было покрыто густыми, кучерявыми волосами. Владимир Иванович отличался и роскошной шевелюрой – выющиеся иссиня-чёрные волосы в сочетании с выпуклыми, чёрными же глазами делали его похожим на Демона с картины Врубеля. Да, его внешность была далека от облика русских былинных богатырей. За кого только не принимали Гаврилова в жизни – и за армянина, и за еврея, и за грузина, один раз даже сравнили с албанцем, но ни армяне, ни евреи, ни грузины (не знаю, как албанцы) никогда не считали его своим. На самом деле его мать была наполовину цыганкой, и горячая кровь этого свободолюбивого народа аукнулась потом в Ауроре, а затем и в Арине. Отёчные, нависшие веки, недобрый, пронизывающий взгляд, нос с горбинкой, ровные белые зубы, которые, несмотря на неумеренное курение, сохранились до последних дней...

С возрастом облик его заметно выровнялся – быстро поседели и легли волнами его кудри, глаза, хоть и впивались цепким взглядом, словно говорившим собеседнику: «Хе, да я о тебе всё, шельмец, знаю! Все твои грешки, желания да пороки вижу нас kvозь!», стали мягче и хитрее, а живот лишь дополнял образ, придавая ему представительности и внушительности. Прибавьте к этому ещё нервный тик, который в молодости не был столь сильно развит и воспринимался просто за не слишком красивую привычку делать пять-шесть мелких плевков через каждые пятнадцать-двадцать минут, будто пытаясь выбросить изо рта прилипший к языку волос или откусанный заусенец. Со временем плевки стали слаще и чаще, правая часть торса при этом непроизвольно сотрясалась, а рука (тоже правая) дёргалась и уверенно постукивала то по коленке, то по столу, а иной раз и по чужой ноге, будто в подтверждение этих самых плевков. Звучало это приблизительно так: «Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п! – Тук, тук, тук, тук, тук».

Что же касается характера, то Владимир Иванович был взбалмошный до идиотизма холерик и психопат, состоял с тридцати девяти лет на учёте в психдиспансере и периодически лежал в самых разнообразных клиниках для душевнобольных, причём по собственному желанию – сделает спяну какую-нибудь непостижимую гадость и бежит к врачу – помогите, обострение, мол, ничего не могу с собой поделать! Месяца полтора отлёживался на больничной койке и, лечась таблетками в сочетании с трудотерапией, которая заключалась в тупом склеивании картонных коробочек, выходил оттуда как новенький, когда реакция жертв его пакостей уже заметно утихала и их желание убить Гаврилова попросту сменялось нежеланием с ним общаться. Неисправимый хулиган и трус, он вдобавок был закоренелым бабником – его привлекали все женщины, которые попадались на глаза, он спал со всеми, кто не отказывал ему, а сопротивляющихся Владимир Иванович умело уговаривал. Однако в любом человеке есть нечто дурное и нечто прекрасное, с той лишь разницей, что в одних доминируют отрицательные, а в других положительные свойства характера. В Гаврилове, несомненно, перевешивало всё скверное, негодное, подчас (не побоюсь этого слова) порочное, но было бы несправедливым не показать в нём хоть что-то хорошее, иначе это уже не человек получится, а бес из преисподней, несмотря на то, что он и сам не раз говорил: «Если б кто написал книгу обо мне, она называлась бы «Житие великого грешника».

Владимир Иванович, к примеру, превосходно готовил, поскольку в юности окончил не только ремесленное училище, но и кулинарный техникум. В годы войны он не сражался на поле битвы, а «по болезни» отсиживался в эвакуации, делая кровяную колбасу. Порой был склонен к сантиментам и несколько наигранной романтичности, особенно тогда, когда разговор заходил о смертности человека. Гаврилов в такие минуты опускал очи долу и, печально вздыхая, говорил:

– Недолго мне осталось! Вон!.. – И он очень живописно вытягивал руку вперёд, будто указывая путь к светлому будущему, – я вижу... т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – плевался Владимир Иванович и отбивал барабанную дробь костяшками пальцев, – тук, тук, тук, тук, тук, – как наяву, зияет могилка моя! – Тут он обычно всхлипывал и просил похоронить его под берёзкой.

После войны он приехал в Москву, поскитался по самым разным заводам и предприятиям, пару дней даже умудрился на стройке поработать и в конце концов приискал себе тёплое mestечко – работёнку хоть и малооплачиваемую, но не пыльную (в переносном смысле слова). Он устроился в недавно открытую читальню часового завода библиотекарем. В Гаврилове (что тоже можно считать положительным качеством его натуры) всегда была сильна страсть к знаниям, особенно к книгам – он сначала скупал подписные издания классиков, потом пропивал их, затем, не жалея живота своего и денег, пытался вернуть обратно. К тому же и сам он баловался сочинительством, с отроческих лет ведя дневник своей беспутной жизни, куда вклеивал фотографии тех городов, где умудрился побывать, женщин, с коими некогда переспал, и, конечно, родственников – матери, старшего брата Антона и сестры Инны, которые, как и он, приехали из Переславля-Залесского и обосновались в Москве. Дневник он называл летописью своей судьбы и самым бесстыдным образом приукрашивал события, всегда находя оправдание своей подлости. О крайних гнусностях, которые Гаврилов содеял в жизни, он умалчивал, не доверяя их даже бумаге. Кстати, эта нездоровая тяга к писательству, вероятнее всего, перешла к нашей героине от него, проявившись в полной мере, когда ей исполнилось пятьдесят лет и у неё начался климакс.

В библиотеке часового завода Гаврилов проработал полтора года и, подыскав себе место по душе, перешёл в отдел фотографии ГУМа. Дело в том, что Владимир Иванович был страстным фотографом – он сам проявлял плёнки, сам печатал снимки и, сколько его помнила Аврора, вечно шатался с фотоаппаратом, болтающимся на груди, подобно ходящему ходуном колоколу на звоннице, созывающему народ к обедне. Но до того как устроиться в ГУМ, на часовом заводе он сподобился охмурить Зинаиду Матвеевну Кошелеву, которая, помимо того что числилась кассиром, в придачу являлась активным членом месткома. Владимир Иванович подкатывал к ней и так и сяк: он дарил ей леденцы на палочке, маленькие шоколадки, зажимал в коридоре, признавался в любви, но Кошелева оставалась тверда, яко скала. Хотя эта твёрдость, надо признаться, была только внешней – в глубине души она уже давно сдалась и мнила себя женой библиотекаря. Зинаиду смущало многое – например, то, что Гаврилов на десять лет моложе её, что у него нет своего угла, а сама она живёт в девятиметровой комнате вместе с матерью, сыном Геней, младшим братом Иваном, его женой, их трёхлетней дочерью Любашкой. Да ещё младшая сестра Екатерина время от времени скрывалась у них от любви всей своей жизни – Лёньки Дергачёва, у которого была своя комната на Арбате и от которого она прижила троих детей, периодически то сдавая их в детский дом, то забирая обратно. Седьмой жилец (если не считать легкомысленную Катерину) в их девятиметровую комнату коммунальной квартиры явно не вписывался (тесновато, что и говорить). Там и так был настоящий дурдом – престарелая мать спала на столе, Геня, сложенный втрое, на старом, дереволюционном диване с клопами, если прибегала Катька, то ночевала на сундуке, все остальные – на полу. А уж когда являлся Лёня – это был сущий ад. Этот маленький человечек одного роста с Катериной (а именно 151 см), с красивым лицом, за которое, вероятнее всего, его и полюбила Зинаида сестра, был ярым скандалистом, выпивохой и смутьяном. При выяснении отношений этой парочке непременно нужно было переругаться до драки, за которой следовало неизменное примирение и рождение очередного ребёнка.

– Всёш-таки Дергач люблит меня до смерти! – с гордостью заявляла Катька и, собрав в который раз свои скромные пожитки, безропотно уходила снова к нему – в тёмный подвал на Арбате, где крысы перетаскали под пол все серебряные ложки.

В подобных нечеловеческих условиях жили тысячи людей после Великой Отечественной – Зинаида Матвеевна это прекрасно знала, но пойти на поводу у своих желаний и привести Гаврилова в бардачную девятымметровку не решалась. Ей очень хотелось любви; она была ещё молода – всего тридцать три года – что это за возраст? К тому же после войны было туга с противоположным полом, и если посмотреть с другой стороны, то нет ничего страшного, что Гаврилов моложе её на десять лет – любая приберёт его к рукам. Именно такие сомнения, такая раздвоенность охватили Зинаиду Матвеевну перед поистине роковым, можно сказать, фатальным событием, которое перевернуло не только её жизнь, но и жизни обитателей девятымметровки, да что там говорить – всех жильцов коммунальной квартиры.

Была весна – майские тёплые деньки ударяли в голову, горячили кровь, наполняя мозги москвичей романтическими фантазиями. Зинаида Матвеевна в сером мешковатом костюме выступала на профсоюзном собрании, с жаром ударяя себя в грудь и доказывая, что путёвок на Черноморское побережье всего десять, а желающих – сорок человек.

– Я ведь не могу их разорвать на сорок кусочков, эти путёвки! Как вы себе это представляете?! – кричала она громоподобно – из зала на неё смотрели непонимающим взглядом сорок пар глаз, выражавших только одно – почему бы и не разорвать? – должно же быть равенство в нашей стране: пусть тогда лучше вовсе никто не едет на море!

В этот кульминационный момент двери актового зала распахнулись, и внутрь на четвереньках вполз Владимир Иванович Гаврилов. Он самоотверженно елозил на карачках по натёртому мастикой паркету меж стульев, двигаясь прямой наводкой по центральному проходу к предмету своей любви – изо рта у него шла пена, смачно падая на пол.

– Что это с ним? – испуганно вопрошали одни.

– Никак за путёвкой пожаловал! – возмущались другие.

– Ему не положено!

– Товарищи, а может, он эпилептик?

– Володя! Володенька! – заокала Зинаида Матвеевна и, сорвавшись с трибуны, опрометью кинулась к своему воздыхателю. – Что с тобой? – колошматила она его за плечи, за кудрявые тёмные вихры, но Володенька лишь плевался пеной да закатывал глаза.

– Врача! Врача! У него припадок! Нужно немедленно вызвать «Скорую»! – настаивал товарищ Грунечкин – начальник пятого цеха по сборке корпусов.

– Володечка! Что с тобой? – Зинаида Матвеевна чуть не плакала, рухнув на колени рядом с Гавриловым.

– Не надо «Скорой»! – печально, но в то же время патетично промямлил он, уронив голову на пышную грудь возлюбленной, после чего заметно поутих, расплёвывая остатки пены на её серый мешковатый пиджак... В этот момент оба они ощутили невероятное, неземное блаженство – Гаврилова охватило поразительное спокойствие: он лежал, будто на мягкой перьеввой подушке, а Кошелеву переполняло смешанное, но приятное чувство – жалости, любви и материнской нежности к библиотекарю. – Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук! – отбивал он дробь по паркету. – Зинульчик, ты выйдешь за меня замуж? – с лицом херувима спросил припадочный.

– Выйду, Володенька, выйду! – горячо пообещал Зинульчик.

– Зиночка! Он тебе весь костюм испоганил! – предупредительно проговорила Лариса Николаевна – главный бухгалтер часового завода.

– Послушайте! А пахнет чем-то странным! Странным чем-то пахнет! Вы не чувствуете?! – заметил Грунечкин, склонившись над Гавриловым.

– Иди отсюда, змий поганый! Пшёл вон! – прошипел болящий.

– Хамство какое! Он ещё и огрызается! Что это такое, товарищи?! – не унимался начальник пятого цеха по сборке корпусов и, подцепив указательным пальцем внушительный шматок

пены с груди Зинаиды Матвеевны, понюхал её и воскликнул: – Мыло! Да это мыло, товарищи! Симулянт! Мерзавец!

– Стало быть, никакой он не эпилептик! – разочарованно фыркнула Лариса Николаевна.

– Набил рот хозяйственным мылом, чтобы путёвку урвать! – кричали наперебой сотрудники часового завода.

– Да подавитесь своими путёвками! Надо же, разоблачили! Во, падлы! Отстаньте от меня! Т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук! Пропустите! Пропустите! Гады! – в слове «гады» Владимир Иванович произнёс букву «г» на украинский манер. В некоторых, непонятно по каким признакам избранных им самим словах он любил применять это украинское «г» – например, в слове «богатый». – Дайте пройти! Мне рот надо прополоскать! – крикнул он и побежал прочь из зала.

– Ты ещё клистир не забудь поставить! – ехидно бросил Грунечкин ему вдогонку.

После этого инцидента Зинаида Матвеевна весь день проревела в бухгалтерии.

– Ну что ты воешь? Он же ненормальный! – внушала ей Лариса Николаевна.

– И хулиган к тому же! – изо всех сил поддерживала главного бухгалтера Даша Брыкина.

– Мне его жауко! Жауко! – захлёбываясь слезами, голосила Зинаида.

– Чего его жалеть-то, ирода??!

– Потому что он такой беззащитный, слабый, жаукий! Ой-ё-ё-ой! – заливалась Кошелева, а уже на следующий день Владимир Иванович ночевал седьмым (не считая блудной Катерины) в бардачной девяностометровке, с ней рядом, на полу, под бочком.

Пробнувшись утром, после бурной ночи любви Зинаида Матвеевна почувствовала себя престранно – никогда с ней такого не случалось – ну если только в детстве... Ей было неуютно, дискомфортно и... мокро.

– Вов! Володь! Ты что наделал-то? – Она толкнула в бок своего поклонника.

– А? Что? – спросонья вскочил он, и, посмотрев на простыни, спокойно сказал: – Ну, не удержал, что ж теперь! Т-п, т-п, т-п, т-п, тук, тук, тук, тук, тук. Иди ко мне, Зинульчик! – И он попытался повалить её, но не смог – слишком дородной и сильной она была.

– Да уж ладно тебе, Вовк! – махнула она рукой и, вырвав простыню из-под Гаврилова, полетела на кухню гладить её, дабы скрыть следы «дальнего плавания» своего любовника.

– Фу, какой вонища! – воскликнула Роза – соседка из пятой комнаты.

– Чем это так воняет? – осведомился Пауль из третьей.

– Ничего не воняет, я сейчас быстренько!

– Зинька! Сегодня ты квартиру моешь! Мы с Танькой своё отдежурили, – заметил Пауль, составляя на своём столе пивные бутылки в ряд.

– А Роза? Роза разве дежурила?

– Роза на прошлой недель поль миль, миль, сортир миль, миль, только этого никто не видел! – обиделась соседка и ушла к себе в комнату.

«Высушив» простыню, Кошелева наскоро вымыла полы в квартире (Владимир всё это время сидел на столе, рядом с её матерью, и легкомысленно болтал ногами).

Несмотря на утреннюю неприятность, у Зинаиды и в мыслях не было расставаться с Гавриловым – слишком уж хорош он в постели! Её не переубедил и поступок девятилетнего сына, который через неделю после появления у них в комнате Владимира Ивановича сбежал из дома в знак протesta и отсутствовал ровно три дня и три ночи. Где он скитался, осталось тайной – известно лишь, что нашли его при непосредственном участии доблестной милиции возле Курского вокзала с беломориной в зубах.

Но в то же время Зинаида Матвеевна не торопилась выскакивать замуж за пылкого любовника своего – два с половиной года они прожили в гражданском браке. Он вскоре после инцидента с хозяйственным мылом, впоследствии ставшего легендой, уволился с часового завода и, как было упомянуто выше, перешёл в фотоотдел одного из крупнейших магазинов

столицы. Она так и продолжала работать в бухгалтерии и два раза в год (а то и все три) делала аборты у сомнительных частных повитух, которые в то далёкое время трудились нелегально, у себя дома. До поры до времени Зинаида Матвеевна везло – она хоть и мучительно, без наркоза, избавившись от плода любви, возвращалась к своей обычной жизни. Но всё в нашем бытии бывает до поры до времени. И вот однажды случилось нечто страшное – разрешившись искусственным путём прежде срока от бремени, она вернулась домой, и вечером того же дня ей стало лихо – поднялась высокая температура, лицо её побелело и стало напоминать по цвету свежевыкращенную малороссийскую мазанку. Поначалу она стонала, потом закричала в голос, и домашним ничего не оставалось, как вызывать «Скорую помощь».

– Кто делал аборт? Говори адрес! – настойчиво, несколько агрессивно требовал врач – седовласый мужчина лет пятидесяти.

– Никто, никто, – Зинаида держалась, как партизанка на допросе у фрицев.

– Если не назовёшь адрес бабки, в больницу не повезём – тут останешься помирать, – выдвинул своё условие доктор, а Зинаида Матвеевна совсем растерялась: «Если сказать ему адрес повитухи, то ту точно посодют, если не сказать – Геня останется сиротой», – размышляла она, но спасение пришло само собой – она впала в обморок, и врачу ничего не оставалось, как выполнить клятву Гиппократа, данную им в университете много лет назад.

Всё обошлось благополучно – Зинаиду спасли, несмотря на то, что она не заложила бабку, которая, оставив у неё в матке ногти младенца, чуть было не вогнала её в гроб. Кошелева вновь вернулась к своей обычной жизни, но спустя три месяца опять забеременела. Её мать, узнав об этом, решила на сей раз вмешаться – к тому же недавний трагический случай с Клавой Бушайко из соседнего подъезда, которая отправилась на аборт к частной повитухе, а оттуда прямой дорогой в мир иной, вывел Авдотью Ивановну из равновесия.

– Гень! Подь-ка сюда! – И она поманила любимого внука скрюченным указательным пальцем. – Ходи за матерью везде! Она на улицу, как и ты за ней, она в туалет, как и ты в туалет! Понял? Вон женщина-то с соседнего подъезда помёрла – а нашто это в рассвете силов-то?!

Геня всё понял и всю материну беременность ходил за ней хвостом, несмотря на то, что к появлению братика или сестрёнки относился крайне негативно, впрочем, как и к Владимиру Ивановичу. Мальчик искренне, всеми фибрами души ненавидел его, но поделать ничего не мог, кроме того, что совершенно отбился от рук и в дальнейшем связался с компанией местных хулиганов, промышлявших мелким воровством.

За два месяца до рождения ребёнка Зинаида Матвеевна вступила в законный брак с Владимиром Ивановичем и с того дня стала носить фамилию Гаврилова.

В Татьянин день у счастливых супругов появилась девочка.

– Вы слышали? У Зинки-то родилась дочь-красавица! – мгновенно разнеслось по двору. Откуда соседи и знакомые взяли, что у Гавриловых родилась дочь-красавица, – неизвестно, но что самое парадоксальное: девочка появилась на свет недоношенная, слабая и синенькая; настоящей красавицей она стала лишь к семнадцати годам, превратившись из гадкого утёнка в прекрасного лебедя.

– Мы назовём её Танечкой, – решила Зинаида Матвеевна.

– Ни за что! Мы назовём её Зоей! – настаивал Владимир Иванович.

– Нет, нет, нет! Когда я работала на вагоноремонтном заводе... – затянула Гаврилова.

– Когда это ты работала на вагоноремонтном заводе? И почему я об этом ничего не знаю? Небось там у тебя мужиков была прорва?! – спросил супруг и злобно прищурился.

– Идиот! Я там с отцом Гени познакомилась, я ведь тебе говорила! – счастливо ухмыльнулась Зинаида – ей было приятно, что муж ревнует её.

– Ну говорила, говорила – ладно! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, тук, тук, тук, тук, тук, – плевался и выстукивал счастливый отец. – И что, что, что – что там было на этом вагоноремонтном заводе? – нетерпеливо, вылупив свои чёрные глаза, воскликнул он.

– Со мной работала Зойка, мерзкая баба, такая сплетница худая и врунья – просто жуть! Она пустила слух, что у меня на ногах волосы растут, – подглядела-де, в душевой. А какие это у меня волосы на ногах?! Какие? Я вообще неолосатая!

– Во гнида! – возмутился Владимир Иванович и игриво провёл по жениной икре. – Из-за этакой падлы я теперь не могу назвать дочь Зоей! Ну что ты будешь делать?!

– Давай назовём её Танечкой, – просила Зинаида. – Родилась в Татьянин день...

– Да что ты заладила – Татьянин день, Татьянин день! Быть ей Авророй! И точка.

– Не-ет, ну что это за имя такое? Я даже никогда не слышала! Это что ж получается? Что нашу доченьку как крейсер будут звать?! – хлюпала Зинаида Матвеевна.

– Тёмная ты, Зинька! Недалёкая! Аврора – это такая богиня была в античной мифологии... Богиня утренней зари... – высокопарно молвил он и оживлённо добавил: – Чего тебе не нравится?

– Нехорошо как-то дочку в честь крейсера называть, – всё ещё сомневалась она.

– Аврора и всё. Больше думать не желаю!

Так было дано нашей героине это редкое имя – и непонятно, какова была истинная причина, по которой её так назвал Гаврилов, – в связи с историческими событиями и ролью одногимённого крейсера в них или в честь древнеримской богини утренней зари – нежной и прекрасной? Но скорее всего Владимир Иванович нарёк дочь в память о какой-то незабываемой возлюбленной своей юности по имени Аврора.

* * *

Детство Авроры было тяжёлым с редкими вспышками радости. Но с годами, как часто бывает, вспоминались лишь эти незначительные вспышки.

— Какая всё-таки раньше была весёлая, беззаботная жизнь! А какие были конфеты! В каждом кругленьком леденце разноцветные домики, собачки или зайчики! А какой варенец продавали на Рогожском рынке! А пряники! А уж если зайдёшь в колбасный, то там такой аромат стоит, что в обморок упасть можно. Попросишь, бывало: порежьте сто граммов докторской, и ведь резали! Резали! Тоненькими кружочками — в те времена продавцов обучали этому, и потом холодильников-то не было... Сливочное масло хранили в банке с водой, чтобы не портилось... Зимой продукты вывешивали за окно, а воришки по ночам срезали кульки ножичками у жителей первых этажей, — с упоением и ностальгией по минувшим годам нередко рассказывала Аврора Владимировна дочери.

Матери она почти не помнила в своём детстве — та, когда бывала дома, всё время сидела за столом и со стуком гоняла костяшки на счётах. Из детского сада Арочку всегда забирал отец — зимой он вёз её на санках через парк по скрипучему снегу и, останавливаясь у каждой лавки, кричал:

— Остановка «Петушки» — выгружай свои мешки! Трамвайчик следует до остановки «Парк — конечная». Т-п, т-п, т-п, т-п, — тук, тук, тук, тук. Следующая остановка «Булочная», — и Арочка хлопала в ладоши — она знала, что у этой самой булочной она сойдет, и отец непременно купит ей сахарный пряник, а себе, несомненно и всенепременно, чекушку водки. — Тебе что, теремок или солнышко?

— Пряник-теремок, — и она получала усыпанный сахарной пудрой предмет мечты всего дня, проведённого ею в детском саду.

— Граждане, занимайте свои места — трамвайчик отправится через три минуты. Сейчас водитель отметится и вернётся, — и Владимир Иванович, усадив дочь в резные деревянные сани, бежал «отмечаться» в винный магазин. Он возвращался с бутылкой за пазухой совершенно счастливый. — Матери не говори! — предупреждал он дочь и, весело прокричав: — Следующая остановка «Бубликово»! — мчался на всех парах до самого дома, напрочь забыв обо всех остановках.

Распив бутылку с тёщей, которую Владимир Иванович с первого дня его пребывания в девятиметровке называл «мамой», обыкновенно говорил:

— Что-то не хватает для вдохновенья! Мать, дай на чекушку!

— Ох, Володя, Зинаида придёт, ругаться будет! Костричная она! — окала Авдотья Ивановна, но отказать зятю не могла — она давала деньги и просила купить ей «красненького»: — Не люблю я водку — горькая она!

Нередко Зинаида Матвеевна, прия с работы, наблюдала следующую картину. Разомлевший супруг её дремлет на сундуке, где периодически спала Екатерина, скрываясь от Дергачёва, мать, забравшись под стол, кричит петухом.

— Мама, опять ты за своё! Вылезай! И этот идиот снова нажрался! Где Геня?

— Где Геня? Да откуда ж мне знать? Оврорка тут...

— Я и сама вижу, что Аврорка тут! Вылезай, кому сказано!

— Нашто?

— Как такое — нашто? Так и будешь под столом сидеть?

— Буду! Мне совестливо! — отвечала Авдотья Ивановна. Стоило старушке выпить лишку, как ей действительно становилось чрезвычайно стыдно: как же она, мать шестерых детей, не смогла удержаться и напилась до головокружения?! Единственным спасением и укрытием для неё в такие минуты был длинный стол, который на ночь превращался в её ложе. Редькина

залезала туда, спасаясь от позора, и сидела до тех пор, пока из головы не выветривался хмель, периодически выкрикивая: – Кук-кареку! Кук-кареку!

* * *

За четыре года брака верность Владимира Ивановича потерпела крах. И кто тут виноват, сказать сложно. Впоследствии он уверял дочь, что первой ему изменила Зинька:

– Ты что, не знала? Она ведь переспала со Средой! – выпучив глаза, доказывал он.

– С какой средой? Почему не с пятницей? – хотела Арка.

– Не с какой, а с каким! Ты что, не помнишь эту падлу Среду? Он жил этажом выше! Я их застукал! Своими глазами видел! – возбуждённо, плюясь и стуча костяшками пальцев по столу, орал он. – А им-то, глазам, я верю! Не верь брату родному, верь своему глазу кривому, как говорится. Т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, – ты спроси, спроси её о Среде – посмотришь, как у неё глазки забегают! Что ж мне оставалось делать? Я отчаялся, потому что мне в душу нахаркали – в мою чистую, открытую, неиспорченную душу, – высокопарно заключал он, считая, что предательство жены со Средой с лихвой оправдывает его бессчётные измены и сумасбродные поступки.

Авора помнила, что безрассудное, порой дикое поведение отца началось как-то внезапно, в одночасье. Может, и правда толчком этому послужила измена матери. Как знать? Сама же Зинаида Матвеевна в предательстве по отношению к мужу так и не призналась до конца дней своих, но при упоминании среды даже как дня недели отчего-то глазки у неё действительно начинали бегать туда-сюда, напоминая маятник мчащихся вперёд неисправных часов.

В гостях, когда собирались множество народу, Гаврилов, пропустив рюмки три, запускал руки под стол и принимался шарить по дамским коленкам (иногда ошибался и хватался за мужскую, что нередко заканчивалось дракой, от которой Владимир Иванович спасался бегством, поскольку не мог дать достойный отпор противнику – сыпанёт злопыхателю солью в глаза и мчится наутёк, только пятки сверкают). Та женщина, которая отвечала на сей дерзкий жест хоть каким-то знаком – улыбкой ли, дёргающимся глазом или просто открытым, лишённым какого бы то ни было смущения, взором, через четверть часа оказывалась в его страстных объятиях либо в коридоре, либо в соседней комнате, а иногда и в той же самой – за ширмой. Не раз Зинаида заставала супруга без штанов, слившегося с незнакомой (а порой и очень хорошо ей знакомой) женщиной в дивном, упоительном экстазе, после чего Владимир Иванович и не думал оправдываться, а говорил мечтательно, с восхищением, обыкновенно томно прикрыв глаза:

– Она – прелесть! – И словно спохватившись, добавлял: – Но ты, Зинульчик, всё равно лучше. Даже не могу сравнить, насколько ты лучше!

Очень часто Гаврилов стал исчезать из дома, оставив скучную записку на столе:

«**Зинульчик! Уехал по местам своей грешно проведённой молодости – вспомнить пережитое и покаяться!**» или просто: «**Уехал на трамвайчиках кататься. Накатаюсь – вернусь.**». «Кататься» и «каяться» Гаврилов мог по две недели кряду (взяв на работе отпуск за свой счёт) – по приезде же он был наигранно кроток, послушен, скромен и немногословен. Иногда даже дарил своему Зинульчику то кофточку, то шарфик, но через неделю отбирал вещь и уже ношенную сдавал обратно в ГУМ, требуя вернуть деньги. В промежутках между отлучками (не считая тех коротких сроков, когда он, нагулявшись вдоволь, возвращался в семью) Владимир Иванович дебоширил, пил, изменял – вообще творил чёрт знает что, нарушая покой девятивметровки, а главное, доводя дочь до психических срывов. Так однажды он заявился домой (тут надо упомянуть, что произошло это в конце ноября) в одних трусах и затеял диковинную ссору с женой. Соседи негодовали, колотили в дверь их комнаты, нецензурно ругались, тем самым выражая своё недовольство. Крепко выпившему Владимиру Ивановичу только того и надо было – он распахнул дверь и разразился таким ядрёным, отборным матом, что обитатели коммуналки даже отпрянули в коридор.

– Жить я вам не даю? Меша-аю? – с упоением кричал он, злобно сверкая глазами. – Я тут всем мешаю! У-у, падлы, я вам щас покажу кузькину мать! – заключил он свою насыщенную речь, затем метнулся вдруг на балкон (шестого, кстати, этажа), вылез на карниз и подобно канатоходцу, махая руками и подгибая коленки, принял ходить по нему взад-вперёд, испытывая терпение взволнованных зрителей, которые стояли, разинув рты и глядя во все глаза, как припадочный сосед балансирует почти голый вокруг да около своей смерти.

– Что это он делает?! Люди добрые! Товарищи! Сделайте же кто-нибудь хоть что-нибудь! – заголосила нараспев Зинаида Матвеевна, перейдя от крайнего нервного возбуждения и страха на свой родной диалект.

– Скондыбится! Ой скондыбится... – размышила Авдотья Ивановна, завороженно глядя на любимого зятя, – Володь, а Володь, ведь помрешь, а нашто это в рассвете силов-то!

– Я ща его сниму, – расхрабрился Иван Матвеевич – младший брат Зинаиды.

– Ваня! Не смей! Он и тебя за собой уволочёт! На кого ты нас с Любашкой оставляешь?! – схватила мужа за руку Галина Тимофеевна (в девичестве Соколова). (Об этой особе можно сказать то, что она преподавала химию в старших классах и, с упоением рассказывая о металлах и галогенах, очаровывала своих учеников. Очаровывались они не на шутку – мальчики ходили за ней табунами, провожали до дома, дарили цветы, конфеты, признавались в любви. Галина Тимофеевна не отвергала эти ухаживания – более того, она даже флиртовала с учениками и бог весть, что там себе ещё позволяла... Зато после окончания школы её многочисленные поклонники поступали на химфакультеты московских вузов.)

– Не уволочёт! – решительно заявил Ваня и весело расхохотался.

– Не подходи! А то щас спрыгну! – взревел дебошир.

– Ваня, не подходи! – взмолился Зинульчик.

– Он прямо хуже мово Дергача! Лёнька ещё по перилам не ходил! – несколько разочарованно пролепетала Екатерина.

– Ох! Что же делать-то? Что делать? – причитала Зинаида Матвеевна, и тут взгляд её наткнулся на Аврору, которая, не реагируя на происходящее, улыбаясь, спала в своей кроватке и видела сто первый сон. Что снилось ей в детстве? Наверное, пряники в сахарной пудре, леденцы и шоколадные конфеты. – Арочка, Арочка! Проснись, дитятко! Тятя твой по карнизу ходит! Поди, уговори его слезть! – трясла она дочь что было сил.

Аврора была единственным человеком, несмотря на свои четыре года, который из всех собравшихся мог повлиять на папочку-скандалиста. И не только на него. У ребёнка был особый дар в самых критических и, казалось бы, безысходных ситуациях урезонивать и успокаивать совершенно невменяемых, агрессивных, разгорячённых водкой людей – в особенности мужчин. Так, она однажды буквально вытащила из петли своего дядю – Василия Матвеевича – старшего брата матери, который по причине безответной любви решил расквитаться с жизнью и пожелал совершить это не где-нибудь, а именно в многонаселённой девятиметровке в то время, когда все ушли по своим делам, – Аврора же мирно спала на сундуке.

Бессчётное количество раз девочка усмиряла уже знакомого многоуважаемому читателю дядю Ваню, который, стоило ему только выпить, попеременно то плакал, то смеялся, с яростью выкрикивая в промежутках:

– Я всю войну прошёл! А до Берлина не дошёл! Почему? Почему не я сорвал с Рейхстага поганое фашистское знамя? Я вас спрашиваю!

Доведя себя до бешенства, в обиде на судьбу-злодейку, которая не позволила именно ему сорвать поганое фашистское знамя, он непременно затевал драку. Иван Матвеевич, несмотря на свой небольшой рост, страстно любил драться и не был настолько умён, как его шурин, чтобы спасаться от противников бегством, поэтому частенько ходил с синей расквашенной физиономией. Тут, справедливости ради, надо заметить, что Иван Редькин хоть и воевал, но прошёл не всю войну, как всегда утверждал, а был демобилизован через шесть месяцев

после наикурьёзнейшего ранения. Его товарищ – рядовой Быченко, решив прочистить винтовку Мосина, по неосторожности нажал на курок и угодил Ване Редькину в... мягкое место – так, что Иван пять лет после этого события не мог сидеть, а ложился с разбегу, сразу на живот или на Галину Тимофеевну. Вся его армейская служба из-за этого случая казалась окружающим фарсом, а ему самому трагедией всей жизни.

Аврора увещевала дядю не только милым лопотанием, но и ласковым прикосновением своей нежной детской ручки к его заскорузлым рабочим пальцам, но главное, что действовало на всех буйнов безотказно, – её недетский, магический взгляд, который, проникая в их огрубелые корявые и искалеченные души, разливался целительным бальзамом по израненным войной, нищетой, голодом, борьбой за выживание, самой жизнью, наконец, сердцам.

– Всё в порядке, Арочка! Ты что перепугалась?! Дядя Ваня не сердится – дядя Ваня вспоминает! – громким, каркающим голосом обычно говорил он и со страстью, с нескрывающейся патетикой запевал свою любимую песню, деря глотку: – Др-р-рались по-гер-ройски, по-ррруссски два друга в пехоте морской. Один пар-р-енъ бы-ыл калужский, дррругой паренёк – костромской...

– Ну вот и хорошо, вот и славненько. Да, Ванюша? – кудахтала, бегая вокруг супруга, химичка Галина Тимофеевна, радостная от того, что на сей раз всё обошлось благополучно, без мордобития.

– Оврор! Уйми тято! – повторила просьбу Авдотья Ивановна, и тут Аврора, увидев отца в трусах до колен, дефилирующего взад-вперёд по карнизу, закричала от ужаса и кинулась к нему. Она была в шоке – если папка, её любимый папка, разобьётся, то кто же будет покупать сахарные пряники и разноцветные леденцы, кто заберёт её из детского садика и прокатит с ветерком на «трамвайчике» с потешными, вкусными остановками?

– Папочка, миленький, любименький, слезь оттуда! Пожалуйста! – немного картавя, лепетала она. Владимир Иванович очнулся, посмотрел на дочь и в её беспокойном взгляде уловил совсем взрослую неописуемую тоску, почти безысходность и отчаяние, более того, в глазах ребёнка затаилось знание о своей ненадобности – мол, кроме тебя я никому тут и не нужна: у дяди Вани есть Любашка, у мамы с бабушкой – Геня, только ты уделяешь мне внимание – что же я буду делать, если ты разобьёшься?

– Во, падлы! Используете ребёнка! Гниды низкопробные! – стыдил он перепуганных зрителей. – Не бойся, Аврик, папа сейчас слезет! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, – отбивал он по кирпичной стене дома. – Разбудили мою дочь! Как посмели трогать такого ангела?! – спросил он сурово, спрыгнув на пол.

– Ты меня так напугал! Так напугал! – Аврора повисла у него на шее и заплакала.

– Костричная ты, Зинька! Зачем дитя-то травмируешь? – растаял Владимир Иванович – он не ожидал или упустил из виду, что на свете есть кто-то, кто действительно любит его искренне и никогда не предаст ни с какими «Средами» и «Четвергами». – Ну что развязились? Тут вам не театр – пшли вон отсюда! – И соседи моментально рассосались по своим комнатам – слышны были только обрывки фраз: «да у нихечно», «скорее б расселили», «если б он спрыгнула, я б всю жизнь дежюриль – поли миль, миль, сортир – миль, миль».

Весь следующий день Гаврилов изображал из себя образцово-показательного отца. Он взял отгул и повёл дочь в Зоологический музей. Владимир Иванович купил ей двести граммов трюфелей и, сунув кулёк под нос, сказал: «Ешь». Целое утро он рассказывал ей про зубров, слонов, альбатросов, целое утро он фотографировал её со всеми подряд экспонатами музея, чем в конце концов замучил до полусмерти, сам не ведая того.

– Встань рядом с зеброй. Да, да, вот с этой, полосатой. Подними правую ручку и дёрни её за хвост. Дёргай, говорю, не бойся! – командовал он. – Сейчас вылетит птичка! Смотри на меня! Улыбнись, улыбнись! Да не ржи ты как лошадь! Вот дурочка! Улыбнись чуть-чуть! Молодец! Вот так! Хорошо! А теперь ещё раз дёрни кобылу за хвост! Да посильнее – не бойся ты,

что тебе сделает это чучело? Ну, зебра, какая разница! – отмахнулся он на поправку дочери. – Она ж не укусит тебя! Она ведь дохлая!

– Гражданин! Вы что, читать не умеете? – возмутилась смотрительница зала – полная женщина, лет сорока, с жидким пучком на макушке и в очках в металлической оправе – ни то, ни другое не шло ей и уж тем более не придавало интеллигентности музеиного работника, которую та, во что бы то ни стало, хотела примерить на себя.

– В чём дело? – поинтересовался Гаврилов и, не думая ни секунды, приблизился к «мымре» (именно так он про себя определил работницу музея) в полной боевой готовности, более того, его подымало с ней сцепиться: – Я читаю побольше вашего! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук.

– Что-то незаметно! – язвительно отозвалась та. – Тут русским языком написано, что дотрагиваться до экспонатов категорически запрещено.

– Что страшного в том, если ребёнок пару раз дотронется до хвоста чучела? А? – И он уставился на смотрительницу тем своим проницательным взглядом, что говорил: «Хе, да я о тебе всё, шельма, знаю! Все твои грешки, желания да пороки вижу нас kvозь!» – Дёрни, дёрни, Аврик, лошадку, как следует! Не бойся эту злую курву!

– Что-о? Да как вы смеете?! – воскликнула «злая курва», и в этот момент Аврик так сильно дёрнул хвост дикой африканской лошади, что тот отвалился.

– Надо же какой кадр пропустил! И всё из-за тебя, змея подколодная! – разозлился Гаврилов.

– Всё! Я в-вызываю милицию! За н-на-нанесение материального ущерба... За вандализм... С вас вз-взыщут... Вас на пятнадцать суток уп-пекут!.. – запинаясь от негодования, кричала смотрительница.

– Щас! Упекли! Да я на ваш музей в суд подам! Аферисты! Наставили тут пугал с приклешенными хвостами! Ну-ка быстро говори: фамилию, имя, отчество, дату рождения. Давай, давай. Мне для суда понадобится, – и он с деловым видом достал из внутреннего кармана блокнот с карандашом.

– Да что вы, мужчина! Какой суд! Ну оторвался нечаянно хвост – ничего страшного, мы починим... Пришьём... Под克莱им, где надо. Вы только не беспокойтесь, продолжайте осмотр. И не нужно никакого суда, уверяю вас! – испугалась смотрительница – в те далёкие годы люди боялись многого.

– Что? В штаны наложила? Не будем мы больше ничего смотреть в вашем вонючем музее. Пойдём отсюда, Аврик. Т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук. – А на вас я всё-таки подам в суд! – заявил он.

– Всего вам доброго, приходите ещё, – расшаркивалась та напоследок, и тут произошло... То, что произошло. Владимир Иванович вдруг ни с того ни с сего рванул к бесхвостой зебре, вспрыгнул на постамент, поднявшился всем своим малоразвитым телом и столкнул её на пол. С реакцией у него было всё в порядке – он схватил дочь в охапку и пустился прочь из Зоологического музея, не забыв при этом получить в гардеробе верхнюю одежду.

Бежал он до Манежной площади без оглядки, там смешался с толпой и, поставив на тротуар Аврору, задыхаясь, спросил как ни в чём не бывало:

– Ну что, Арка, сожрала трофеля?

– Сожрала, – с печальным вздохом сказала Арка – в руке она крепко сжимала музейный трофей: нарядный хвост дикой африканской лошади.

* * *

То ли Гаврилову от природы было дано выходить сухим из воды, то ли так уж складывалось по жизни – неизвестно, но после чудовищных и (этого нельзя не отметить) удивительных по своей находчивости, изобретательности пакостей, а главное, виртуозному и (заметьте!) преднамеренному и последовательному их исполнению, ему всё сходило с рук.

Жизнь Владимира Ивановича была насыщенной, я бы даже сказала, чрезмерно изобилующей различными курьёзными эпизодами, которые создавал он сам. Автор в качестве примера опишет ниже самый обыкновенный день Аврориного отца, который нормальному человеку может показаться тяжёлым, да что там говорить, из ряда вон выходящим, но для Гаврилова – это самый что ни на есть заурядный, ничем не примечательный день.

Как-то в первую субботу июня – в последнее предшкольное Аврорино лето (надо сказать, что безумную коммуналку расселили и Гавриловым с детьми и Авдотьей Ивановной дали двухкомнатную квартиру на Рогожской заставе), когда Зинаида Матвеевна, решив наладить давно утраченный контакт с Геней, укатила с ним на выходные в подмосковный дом отдыха, семья решила сходить помыться.

Ранним утром Авдотья Ивановна с зятем разбудили Арочку и все вместе отправились в общественную баню – они всегда по субботам ходили туда: старушка – по той простой причине, что никак не могла постичь, каким образом можно как следует отмыться под тонкой струйкой воды, в большом «корыте» под названием «ванна», Владимир Иванович помимо гигиенической цели похода преследовал и ёщё одну – посмотреть, как он сам говорил, на голых баб. Дело в том, что мужская раздевалка была отмежевана от женской тонкой стенкой, к которой со стороны раздевалки «М» крепилась часть шкафчиков для одежды клиентов. Ящик под номером пятьдесят восемь таил в себе сладкий и отрадный секрет – именно на стене, где крепилась эта ячейка, какой-то озорник просверлил внушительную дырку, рассчитанную не иначе, как для подглядывания за раздевающимися и одевающимися женщинами. Гаврилов давно знал тайну пятьдесят восьмого ящика, складывал вещи только туда, а дырку после своего ухода залеплял предварительно разжёванной конфетой-тянучкой. Конечно, подглядывать было не так-то просто – нужно было немного подтянуться на локтях и буквально впихнуть верхнюю часть туловища целиком в ячейку, что, естественно, приводило в недоумение как работникам бани, так и купальщиков, но чего не сделаешь ради женских прелестей, которые в головокружительном разнообразии мелькали перед глазами?! Именно так, по глубокому убеждению Владимира Ивановича, должен выглядеть рай. У Авроры никаких основательных причин идти в баню не было – девочку взяли с собой, потому что её попросту не с кем было оставить.

Заплатив за два часа, Владимир Иванович влетел в раздевалку, как чумовой, кинулся к заветной ячейке, но... сегодня она, как назло, была занята. Гаврилов попытался открыть дверцу ногтями, но тщетно, потом вытащил из сумки опасную бритву и принялся ею подковыривать со всех углов металлическую створку...

– Гражданин! Гражданин! Что вы делаете? Шкафчик занят – вон сколько свободных, выбирайте любой! – прокричал банщик – мужчина лет сорока, в белом коротком халате, с набриолиненной причёской на прямой пробор, какую носили лакеи в дореволюционной России.

– Голубчик! Вся плачевность ситуации в том, что вчера я именно в этом ящике забыл носки, которые дороги мне как память – мне подарила их моя Надюша, моя бедная супруга в день своей кончины, – и Владимир Иванович посмотрел на банщика увлажнённым взором, наполненным таким непередаваемым трагизмом, что у того сердце сжалось от сострадания и сочувствия. Когда Гаврилов хотел, он и без скандала мог уговорить кого угодно и на что угодно – проблема в том, что он не всегда этого желал.

– Мне очень жаль... Вашу жену... Примите мои соболезнования... – растерялся банщик и счёл своим долгом поинтересоваться, при каких обстоятельствах безвременно ушла из жизни его Надюша.

– Очень глупо, очень глупо, – с серьёзностью молвил Владимир Иванович. – Пришла из магазина... Т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, – выложила те самые носки, которые я оставил у вас в пятьдесят восьмом ящике, захотела есть, схватила булку, поперхнулась, закашлялась – я ей по спине начал стучать – не помогает... – и тут он живо представил, что бы он стал делать, если бы его Зинульчик на самом деле поперхнулся крошкой хлеба, – телефона нет, мы недавно переехали на новую квартиру... Я на улицу – в телефон-автомат, монетки как назло нет – искал, искал – все карманы вывернул, потом у прохожего попросил, тот дал. Ну, я в будку скорее. И только когда начал набирать номер «Скорой», до меня вдруг дошло, что монетка не нужна была – звонок бесплатный! Сколько времени потерял! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, – отстукивал он по ящикам. – Прихожу, а она уже готовая – сидит на стуле, голову откинула, глаза закатила... В общем, кошмар! Это я виноват! Я во всём виноват – верните мне носки! Откройте пятьдесят восьмой ящик!

– Печальная история, но, знаете ли, мы вчера в конце смены проверили все ячейки – никого ничего не оставлял. Может, вы забыли носки в другом месте?..

– На что это вы намекаете? – взорвался Гаврилов. – Что я, не успев оплакать жену, по бабам шляюсь?

– Да что вы! Как вам такое могло в голову прийти?! Ведь носки можно забыть не только в бане или у любовницы...

– Где ж ещё? – выпутив глаза, спросил Владимир Иванович – он так вошёл в роль, что и в самом деле почувствовал ту пустоту, которая зияющей бездной разверзлась в его душе после утраты несуществующей Надюши.

– Ну в бассейне... Или... Или... – замялся банщик, – или в заводской раздевалке! – воскликнул он с радостью от внезапно пришедшего на ум примера.

– Я по бассейнам не хожу и на заводах не работаю! Открывай ящик!.. – Владимир Иванович едва сдержался, чтоб не обозвать банщика «падлой» – излюбленным своим словечком, но вовремя понял: если он полезет в бутылку, не видать ему сегодня женских прелестей, ради которых он, собственно, и пришёл помыться.

– Да, да, сейчас! – с готовностью сказал тот и помчался в парилку. – Товарищи! Прошу внимания! – что было сил заорал он, разгоняя клубы пара. – Кто из вас занимает пятьдесят восьмую ячейку? – Человек двадцать «товарищей», кто с шайками, кто с мочалками в руках и все как один... тут можно было бы сказать, что все они, как один, были в чём мать родила, но женщины не рожают детей в разноцветных вязаных и грязно-серых войлочных шапочках, устремили свои взгляды на банщика, однако никто из них не прореагировал на число пятьдесят восемь. Временный обладатель вожделенной ячейки Гаврилова – маленький толстенький человечек в головном уборе, напоминающем чапаевскую папаху, с жировыми складками на боках, сидел на самой высокой ступеньке парилки в сизом мареве и безжалостно избивал себя веником.

– Пятьдесят восьмая ячейка! Я спрашиваю, у кого?

– Что? Чего? Какая? У меня пятьдесят восьмая! А что такое? Меня обворовали? – забеспокоился любитель поддать жару и сбежал вниз так быстро, как мяч скатывается с горы.

– Нет, нет, не волнуйтесь. Просто в этой ячейке один гражданин оставил вчера свои носки. Вы отдали мне, конечно, ключ, – важно заметил банщик, – но, вы сами понимаете, я ведь не могу без вашего ведома рыться в ваших вещах.

– Да, да, да, – понимающе закивал толстячок.

– Ну что ж, давайте посмотрим, – и работник бани открыл ячейку.

– Нечего смотреть! Бери свои вещи и клади их в другой ящик! – завопил Владимир Иванович.

– С какой это стати? – возмутился незнакомец в чапаевской папахе, а Гаврилов надолго задержал взгляд на его мужском достоинстве, подумав: «Чем иметь такое, лучше вообще ничего не иметь», – так, что толстячок прикрылся руками и покраснел.

– Я долго буду носки искать, так что выметайся! – И Владимир Иванович, нервничая, что времени не только для мытья, но и для подглядывания за голыми женщинами совсем не остаётся, выгреб всё содержимое из пятьдесят восьмого шкафчика и, роняя на кафельный пол то полотенце, то трусы, с чувством запихнул их в ящик под номером шестьдесят девять.

В этот день ему так и не удалось помыться – оставшийся час Гаврилов провёл, протиснувшись по пояс в ячейку и с интересом наблюдая за дамами, то и дело шепча себе под нос:

– Прелесть! Какая прелесть! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук.

Особенно ему понравилась жгучая брюнетка с осиной талией и аппетитными формами – он проследил, как она разделась, как ушла мыться, вернулась за мылом и снова исчезла... Потом он увидел Авдотью Ивановну, которая вывалилась из парилки с шайкой, ведя за руку Аврору. Тёща помогла одеться внучке, потом что-то долго ковырялась – до тех пор, пока в раздевалку не возвратилась прелестная незнакомка (тут взгляд Владимира Ивановича начал раздваиваться – он изо всех сил старался не упустить из виду жгучую брюнетку и одновременно не прозевать уход своих спутниц). Предмет вожделения Гаврилова уже надел на себя нижнее бельё и натягивал чулки на красивые ножки, а Авдотья Ивановна всё озиралась по сторонам, ища чего-то. Наконец тёща радостно всплеснула руками и достала из-под лавки зелёные сатиновые трусы в красный, крупный горох, похожие на раздутый попутным ветром парус. Она с наслаждением нацепила их на себя, потом напялила три чёрные однотонные ситцевые юбки (которые носила всегда, дабы придать бёдрам пышность), одну тёмно-синюю в мелкий серенький цветочек – сверху, затянула белую хлопчатобумажную кофту красной узенькой кулиской и, схватив Аврору за руку, уточкой направилась к выходу. Незнакомка с осиной талией, сложив вещички в сумку, тоже вышла из раздевалки. Владимир Иванович наспех засунул конфету-тянучку в рот и начал разжёвывать её с такой интенсивностью, что прикусил себе щёку.

– Гражданин! Вы нашли свои носки? Что это вы повисли на шкафчике? – поинтересовался банщик.

– Нашёл, нашёл! Отвяжись! – раздражённо отозвался Гаврилов и, залепив дырку в стене, вылез из ячейки.

Он сломя голову выбежал на улицу и, схватив тёщу за юбку, потащил их с Авророй в противоположную от трамвайной остановки сторону.

– Володя! Ты куда? Нашто так торопиться? Куда ты меня тащишь? – вопрошила она, но Володя остался глух, стараясь не упустить жгучую брюнетку.

– Девушка! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук. – Постойте! Ангел мой, прелесть! – орал он на всю улицу. На него с удивлением оглядывались добродорядочные граждане – только «прелесть», которая шла впереди, покачивая бёдрами, не обращала на Гаврилова ни малейшего внимания, увлекая его всё дальше и дальше от дома. – Имя! Скажи только имя, красавица! – кричал он, как одержимый, и вдруг ощущил сильный рывок назад. – Что? Что такое? В чём дело?! – Он был вне себя от ярости.

– Володь, я трусы потеряла, – виновато призналась тёща и подняла свои многочисленные юбки. Ярко-зелёная в красный горох тряпка на тротуаре вокруг ног старухи притягивала и привлекала взгляды прохожих.

– Мать! Вот что тытворишь! Что?! Ты разрушаешь всю мою судьбу! Трусы она потеряла! – возмущённо кричал зять, вылупив глаза. – И что тут страшного? Переступи иди дальше! – посоветовал он и озабоченно посмотрел вперёд – прекрасной незнакомки и след простыл. – Тыфу! Всё-таки все бабы – падлы! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук, –

пошли домой! – скомандовал он, и тёща, последовав его совету, переступила через трусы и пошла дальше как ни в чем не бывало – вот на душе только скверно как-то стало.

– Володь! – наконец прорезалась она. – Жалко – трусы-то хорошие были, резинка слабая, но дак-то хорошие. Может, ешё лежат – ты бы сбегал, посмотрел, что ли, – неуверенно промолвила она.

– Не горюй, мать! Я тебе из ГУМа новые принесу – с кружева-ами!

– Ой! Хороший ты парень, Володя! – окала она, зардевшись от смущения.

– Неплохой, мать, неплохой! – уверенно заявил он и, пользуясь моментом, попросил: – Мамаш, дай на чекушку!

– Да я б дала, а что, если Зинаида узнает? Она ж такая костричная!

– Откуда ей узнать? Они ж только завтра приедут!

– Ну да, ну да. Дам, – согласилась Авдотья Ивановна, взбираясь на высокую ступень трамвая, – а мне «красненького» купиши. Не люблю я водку – горькая она.

– Ха! Ха! Мамаша! Ты у меня натуральное золото! И в кого только Зинка такая костричная уродилась?! – весело воскликнул Владимир Иванович, подмигивая дочери. – Аврик, что пригорюнилась? Как помылась? С лёгким паром!

– Хорошо помылась. Папа! А разве бывают тёти с тремя титьками?

– Оврор! Да что это ты такое у тятьки-то спрашиваешь? – возмутилась Авдотья Ивановна, надёжно пряча билетик в лифчик.

– Я сегодня видела такую тётеньку в парилке – дак у неё три титьки было, – очень серьёзно подтвердила девочка.

– Правда, что ль?! – удивился Владимир Иванович и озадаченно спросил: – А почему же тогда я её не видел?

– Потому что ты в мужской бане мылся! Вот почему! – рассмеялась Аврора.

– Конечно! Конечно! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук. – Я же в мужской бане... Ну да, ну да... Поэтому и не видел! – И Гаврилов ударил себя по лбу кулаком в знак собственной рассеянности и забывчивости.

Добравшись до дома, Авдотья Ивановна вызвалась варить щи, зять, вытряхнув из неё деньги на «чекушку», помчался в винный магазин, Аврора, проглотив вчерашнюю котлету с картошкой, отправилась гулять.

Спустя три часа бабка кукарекала под столом, Владимир Иванович дремал, расслабленный, на койке, Аврора трезвонила в дверь, рыдая белугой.

– Что? Что такое? Что у тебя с лицом? – Гаврилов тряс её за плечи, в ужасе глядя на кровоподтёк под глазом дочери.

Она молчала – Аврора вообще не имела привычки жаловаться.

– Кто тебя обидел? Скажи папе. Папа любому за дочь яйца оторвёт! Говори! – настаивал Владимир Иванович, но она молчала как рыба. – Если ты мне сию минуту не скажешь, кто тебя обидел, я тебе второй глаз подобью! Говори! – И он припёр её к стенке.

– Лена и Света Таращук, а потом ешё их старший брат пришё-ёл, – выла она. – У них мама на юливицком заводе работает и всякие колечки и брошки приносит. Они всем дарят, а мне нет. Я взяла и попросила...

– А они что? – вытягивал из неё отец.

– Они засмеялись и не дали...

– И что? Дальше что? Они тебе сразу морду бить? Или погодя?

– Нет, не сразу. Я сказала, что когда вырасту, у меня на каждом пальчике колечко будет! Даже на ногах! Вот. Они смеялись, смеялись, потом щипаться начали. А потом их старший брат пришёл и заступился за них. Всё, – с облегчением заключила она.

– И где эти хохлы живут? Т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук. – Это не у них мать такая толстая, рыжая, с такими здоровыми...

– Да, у них мать толстая и рыжая, – подтвердила Аврора, и Владимиру Ивановичу сразу стало понятно, где живут «эти хохлы» – а именно на первом этаже в соседнем доме – он не раз бывал там...

– Во, курва! Я её ублажаю, а её выродки мою дочь бьют! Ну подожди, змея подколодная! Аврик! Иди, умойся, поиграй и не расстраивайся, папа им всем покажет кузькину мать! – И Владимир Иванович, распалённый гневом, обуреваемый единственным желанием – восстановить справедливость и отомстить за дочь, долго не мог попасть ногами в ботинки, без конца плюясь и отбивая мелкую дробь костяшками пальцев по калошинце; через десять минут, возбуждённый и готовый к вендетте, он выбежал из квартиры.

Гаврилов обошёл дом неприятеля и, оценив ситуацию, засел в кусты разросшихся акаций в десяти метрах от окон Таращуков. Несмотря на свою болезненную горячность, необыкновенную вспыльчивость и поистине феноменальную невыдержанность, Владимиру Ивановичу на сей раз удалось сдержать ярость и острое желание напакостить за дело, не по пустяку (а это вообще святое!). Сегодня он пришёл к выводу, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, и, сидя в засаде, развлекался, с чувством и упоением напевая под нос свой любимый романс «Гроздья акаций» и подглядывая в окна первого этажа, в надежде увидеть, что какая-нибудь бабёнка решит переодеться.

Наконец над городом сгостились сумерки, Таращуки включили свет в комнате и на кухне. Гаврилову было прекрасно видно, как рыжая bestия накрывает на стол, как входит в комнату и зовёт мужа с детьми («выродками») ужинать, как супруг шаловливо хватает её за грудь – она хохочет...

– Во, курва! – не удержался Владимир Иванович и, сняв штаны, присел на корточки. – И чаво это мы там едим? Что это мы едим? Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, – был он себя по коленке. – А-а! Макароны с тушёнкой. Оч-чень аппетитно! – с натугой выдавил он из себя, затем последовал настолько же неприличный звук, насколько аппетитными были, по всей видимости, макароны. – Сейчас я вам малину-то подпорчу! Подгажу малину-то! – выжал он из себя, и снова раздался непристойный звук.

И тут произошло совершенно, казалось бы, нереальное и скабрезное действие, которое, быть может, следовало и опустить в нашем повествовании, но автор считает это неправильным, даже невозможным, поскольку без нижеописанного эпизода многоуважаемому читателю не раскроется до конца ни образ Гаврилова, ни его любовь по отношению к нашей героине, которая в тот момент, когда родитель мстил за неё, вытащила бабку из-под стола и, ухватив старушку за бесчисленные юбки, кружила то по часовой стрелке, то против – пока та не рухнула на пол.

Владимир Иванович поднялся во весь рост и вдруг ка-ак шваркнет чем-то дурно пахнущим, насыщенно-коричневым в окно Таращукам. Запульёт и снова садится на корточки – тужится, кряхтит, опять поднимается в полный рост и швыряет своей «убийственной» бомбой по врагам. Так он садился и вставал до тех пор, пока окончательно не изгадил (в прямом смысле этого слова) Таращукам оба окна, с наслаждением наблюдая, как подлое семейство переполошилось: рыжая бегает, словно заводная кукла, из кухни в комнату и обратно, её муж, размахивая руками, подпрыгивает за столом, точно ванька-встанька, а дети – те будто окаменели: вытаращились (оправдывая в этом свою фамилию) в окно и не шелохнутся.

– Во дураки! Ну и дур-раки! Даже в голову не придёт выключить свет и посмотреть, кто их дерзом обстреливает! – от души хохотал Владимир Иванович. Однако радовался он недолго – Таращук-старший догадался вскоре выключить свет и посмотреть, кто изуродовал им окна, которые неделю назад жена тщательно вымыла «с газеткой», но обидчика за кустами не узрел.

Разъярённый хозяин выскочил на улицу в чём был, а был он в белой майке и белых панталонах до колен, и прямой наводкой полетел к акациям. Но Гаврилов уже успел скрыться с места преступления.

Он вернулся к себе, позвонил носом в дверь и потом долго мыл руки хозяйственным мылом, удивляясь:

– Надо ж, какое въедливое! Ну теперь они стёкла неделю draить будут! Мать! Где щи? – потребовал он. Израсходовав массу сил и энергии, Владимир Иванович дико проголодался.

– Ага, Володя. Я щас, – и Авдотья Ивановна поплыла в кухню. – Оврорка себя плохо вела – закружила меня, я и бухнулась об пол, вон всю руку разбила! – жаловалась она, ставя перед Гавриловым тарелку со щами. – Обругай её.

– Шалишь?! – радостно воскликнул Гаврилов. – Молодец, Аврик! Вся в отца! Что это такое? Жирок? Хорошо! – И он с жадностью зачерпнул ложкой жирок, взглянул на него и усомнился – странный он какой-то был – этот «жирок» – тоненький, серенький. – Что это такое? Что? – переспросил он. – Мать! Ну ты совсем плохая стала! Это ж, т-п, т-п, т-п, т-п, т-п, – тук, тук, тук, тук, тук, – трамвайный билет!

– Да ладно тебе, Володь! Всё шуткуешь!

– Аврик! Глянь сюда! Что это?

– Билет, – подтвердил Аврик.

– Я ж говорю – трамвайный билет. Вон и цена есть – три коп.

– Как он туда попал?.. – задумалась тёща. – Лешой знает!

– Баушка сварила суп из трамвайного билета! – рассыпалась смехом Аврора.

– Из лифчика! Бат-тюшки! – осенило Авдотью Ивановну. – Я когда билет-то оторвала, я ж его в лифчик затыркнула! Ей-ей!

– А у тебя там, в лифчике, червонцы случайно не водятся, а мамаш? – И Владимир Иванович привстал и заглянул в разрез её белой кофты.

– Ой, Володя, смущаешь ты меня, – пискнула тёща и, покраснев до корней волос, поспешила скрыться в комнате.

Вот так, трамвайным билетом закончился тот самый обыкновенный для Владимира Ивановича день.

* * *

Двухнедельные отлучки супруга «по местам своей молодости с целью покаяния» и его безумные «катания на трамвайчиках» надоели Зинаиде Матвеевне пуще пареной репы, как, впрочем, и его чрезмерно насыщенная жизнь, изобилующая скандалами, драками, жалобами соседей, пьянством, но самое главное – его женщинами, что прятались полуоголые то за ширмой, то в шкафу. От всего этого Зинаида порой глубокой ночью, разбудив Аврору, неслась вон из дома к старшей сестре – Антонине на улицу Осипенко и скрывалась там, ожидая, пока взбалмошный супруг не образумится и не приедет за ними с повинной – вот только за сына душа болела, но тот куда-либо уезжать из дома отказывался и говорил обычно:

– Я с бабушкой останусь.

На Осипенко было спокойно – Тоня целыми днями шила на заказ платья и блузы, её dochь – Милочка после школы бралась за излюбленное своё занятие – рисование (она вовсю готовилась в художественное училище), Александр Алексеевич Вишняков (Тонин муж), поужинав после работы, усаживался в кресло и читал газету. «Ничего не скажешь, повезло Антонине!» – нередко думала Гаврилова.

Когда Авроре исполнилось восемь лет, терпение Зинаиды Матвеевны лопнуло, и она подала на развод.

Тут, конечно, не обошлось без участия Гени – он, ненавидящий отчима всеми фибрами души и одновременно, несмотря на мальчишескую бедовость и смелость, боявшийся Гаврилова как огня, никогда не зная наверняка, что тот может выкинуть в ответ на его мелкие гадости, молча и бездейственно ждал подходящей ситуации, дабы поссорить с ним мать. И такая ситуация подвернулась – когда Владимир Иванович, в который раз, оставил известную скучную записку на столе.

– Ха! Твой Мефистофель опять уехал отмаливать грехи на свою историческую родину, – язвительно проговорил Геня баском, когда мамаша, уставшая и замотанная, пришла с работы домой, обвшанная сумками, как новогодняя ёлка шарами. Он всю жизнь будет называть ненастных и омерзительных ему мужчин именем всем известного персонажа «Фауста» Гёте.

– Во, подонок! Во, идиот! – в сердцах воскликнула она и, бросив в коридоре сумки, метнулась в комнату. Она схватила клочок бумаги, на котором красивым, несколько нервным, прыгающим почерком с характерными завитками в буквах «о», «у» и «д» было начертано, что супруг вернётся, как «покается», и от злости и обиды разорвала записку на мелкие кусочки.

– Мамань! Да он от тебя гуляет! По бабам шляется, а ты терпишь! – заявил Геня, и это самое его заявление явилось последней каплей для Зинаиды Матвеевны – если уж ребёнок, её родной сын всё видит и знает, то что ж она – взрослая женщина, всеми уважаемый кассир часового завода и активный член месткома, закрывает на это глаза, не желает верить тому, что Гаврилов на самом деле изменяет ей направо и налево?!

– Развод! – прошипела она и принялась с нетерпением ждать супруга, пока тот наездится по местам своей грешно проведённой молодости.

Владимир Иванович вернулся спустя полторы недели – как обычно наигранно тих, послушен, скромен и немногословен.

– Я хочу, Володя, с тобой серьёзно поговорить, – сказала Зинаида Матвеевна. – Пошли на кухню.

– Да, Зинульчик, я тебя очень внимательно слушаю, – молвил Гаврилов кротко, почти шёпотом.

– Я решила с тобой развестись, – бухнула она без всякого предисловия. Владимир Иванович вылупил на неё чёрные глаза свои и заплевался, отчаянно отбивая мелкую дробь по столу.

– Это с чего это?! – наконец прокричал он – кротости и скромности как не бывало.

— А с того, что ты пьёшь, дебоширишь и изменяешь мне, — вот с чего! Денег приносишь мало — зажимаешь на книжки, за Авроркой не смотришь и вообще — идиот ты, Гаврилов! — заключила она.

— А ты не идиотка? — агрессивно спросил он и остановил на супруге долгий, злобный, пронизывающий взгляд. — Если прожила с идиотом одиннадцать лет, то кто ж ты после этого? Я тебя спрашиваю?! Т-п, т-п, т-п, т-п, т-п! — Тук, тук, тук, тук, тук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.